

ЮРИЙ КАЗАКОВ, К. Г.
ПАУСТОВСКИЙ, МИХАИЛ
ПРИШВИН И ДР.

**БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ.
ЛУЧШИЕ ПОВЕСТИ И
РАССКАЗЫ О
ЖИВОТНЫХ
(СБОРНИК)**

Константин Георгиевич Паустовский
Михаил Михайлович Пришвин
Юрий Павлович Казаков
Николай Семёнович Лесков
Константин Дмитриевич Ушинский
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Борис Степанович Житков
Александр Иванович Куприн
Лев Николаевич Толстой
Антон Павлович Чехов
Сергей Тимофеевич Аксаков
Леонид Николаевич Андреев
Иван Сергеевич Тургенев
Белый пудель. Лучшие
повести и рассказы о
животных (сборник)
Серия «Русская классика (Эксмо)»

Белый пудель: лучшие повести и рассказы о животных.: Эксмо;

Москва; 2015

ISBN 978-5-699-81341-4

Аннотация

Самые известные и любимые рассказы о животных С. Аксакова, И. Тургенева, Л. Толстого, К. Ушинского, Н. Лескова, А. Куприна, М. Пришвина, К. Паустовского, Л. Андреева, Ю. Казакова в одной книге. Разные истории о диких и домашних животных, о наших любимцах и их характерах, их преданности своим хозяевам, об их сходстве и непохожести друг на друга.

Содержание

Сергей Аксаков	13
Собирание бабочек	13
Иван Тургенев	97
Муму	97
Из «Стихотворений в прозе»	137
Собака	137
Воробей	138
Насекомое	139
Голуби	140
Дрозд	142
I	142
II	144
Лев Толстой	146
Холстомер. История лошади	146
Глава I	146
Глава II	150
Глава III	154
Глава IV	158
Глава V	162
Глава VI	167
Глава VII	176
Глава VIII	178
Глава IX	184

Глава X	186
Глава XI	192
Глава XII	196
Николай Лесков	201
Зверь. Святочный рассказ	201
Глава 1	201
Глава 2	203
Глава 3	204
Глава 4	207
Глава 5	208
Глава 6	210
Глава 7	211
Глава 8	212
Глава 9	214
Глава 10	216
Глава 11	219
Глава 12	221
Глава 13	222
Глава 14	224
Глава 15	226
Глава 16	227
Константин Ушинский	232
Гадюка	232
Дмитрий Мамин-Сибиряк	235
Серая Шейка	235
I	235

II	238
III	241
IV	245
Антон Чехов	248
Белолобый	248
1	248
2	250
3	254
Каштанка	256
Глава 1	256
Глава 2	259
Глава 3	263
Глава 4	265
Глава 5	269
Глава 6	272
Глава 7	277
Александр Куприн	286
Собачье счастье	286
Барбос и Жулька	298
Белый пудель	305
1	305
2	307
3	315
4	330
5	334
6	342

Слон	353
1	353
2	354
3	355
4	358
5	361
6	362
Еж	369
Брикки	374
Скворцы	379
Козлиная жизнь	389
Гусеница	402
Пегие лошади	414
Песик-Черный Носик	423
Золотой петух	430
Ю-ю	436
Рыжие, гнедые, серые, вороные...	454
I	454
II	461
III	469
IV	479
Пуделиный язык	486
Леонид Андреев	499
Кусака	499
I	499
II	501

Ш	504
IV	507
V	509
Михаил Пришвин	511
Нерль	511
И	511
II	514
III	518
Журка	523
Луговка	525
Изобретатель	528
Ребята и утята	533
Еж	535
Предательская колбаса	538
Сват	543
Филин	546
Пиковая дама	550
Лимон	555
Голубая стрекоза	561
Кладовая солнца	565
И	565
II	568
III	572
IV	578
V	584
VI	588

VI	591
VII	595
VIII	602
IX	609
X	613
XI	619
XII	624
Борис Житков	624
Галка	626
Как слон спас хозяина от тигра	628
Как я ловил человечков	636
Мангуста	645
Про обезьянку	660
Про слона	669
Храбрый утенок	671
Константин Паустовский	671
Рассказы	671
Барсучий нос	675
Заячьи лапы	682
Грач в троллейбусе	687
Сказки	687
Дремучий медведь	697
Растрепанный воробей	709
Юрий Казаков	709
Арктур – гончий пес	709
1	713
2	

3
4
5
6
7
8
9

717
722
725
728
730
733
736

**Сергей Аксаков, Леонид
Андреев, Михаил
Пришвин, Иван Тургенев,
Дмитрий Мамин-
Сибиряк, Константин
Ушинский, Николай
Лесков, Александр
Куприн, Антон Чехов, Лев
Толстой, Борис Житков,
Константин Паустовский,
Юрий Казаков
Белый пудель (сборник)**

© Паустовский К.Г., наследники, 2015

© Пришвин М.М., наследники, 2015

© Казаков Ю.П., наследники, 2015

Сергей Аксаков

Собирание бабочек

(Рассказ из студенческой жизни)

Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображениями зверей, птиц, рыб, попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаяемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драгоценным и важным открытием, которое надобно записать и сообщить другим. С умилением смотрю я теперь на эти две

тетрадки в четвертку из толстой синей бумаги, какой в настоящее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом описаны: зайчик, белка, болотный кулик, куличок-зук, *неизвестный* куличок, плотичка, пескарь и лошок; очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я развлекся множеством других новых и еще более важных интересов, которыми так богата молодая жизнь; развлекся и перестал описывать своих зверков, птичек и рыбок. Но горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир, не остывала в душе моей, и через пятьдесят лет, обогатившись опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свое детство – и попытки мальчика осуществил шестидесятилетний старик: вышли в свет «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Еще в ребячестве моем я получил из «Детского чтения» понятие о червячках, которые превращаются в куколок, или хризалид, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало бабочкам новый интерес в моих глазах; но и без того я очень любил их. Да и в самом деле, из всех насекомых, населяющих божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летающих, – бабочка лучше, изящнее всех. Это поистине «порхающий цветок», или расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, или испещренный неопределенными цветами и узора-

ми, не менее прекрасными и привлекательными; это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление бабочек весной! Обыкновенно это бывают бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы, когда почти нет еще ни зеленой травы, ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из корней вверх по стволам и ветвям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной земли, – не успокоивала, не веселила сердца человеческого.

В 1805 году, как известно, был утвержден устав Казанского университета, и через несколько месяцев последовало его открытие; между немногими преподавателями, начавшими чтение университетских лекций, находился ординарный профессор натуральной истории Карл Федорович Фукс, читавший свой предмет на французском языке. Это было уже в начале 1806 года. Хотя я свободно читал и понимал французские книги даже отвлеченного содержания, но разговорный язык и вообще изустная речь профессора сначала за-

трудняли меня; скоро, однако, я привык к ним и с жадностью слушал лекции Фукса. Много способствовало к ясному пониманию то обстоятельство, что Фукс читал по Blumenbachу, печатные экземпляры которого на русском языке находились у нас в руках. Книга эта, в трех частях, называется «Руководство к естественной истории Д. Ион. Фридр. Blumenbachа, Геттингенского университета профессора и великобританского надворного советника с немецкого на российский язык переведенное историей естественной и гражданской и географии учителями: Петром Наумовым и Андреем Теряевым, печатано в привилегированной типографии у Вильковского. В Санкт-Петербурге 1797 года».

Между слушателями Фукса был один студент, Василий Тимьянский, который и прежде охотнее всех нас занимался языками, не только французским и немецким, но и латинским, за что и был он всегда любимцем бывшего у нас в высших классах в гимназии преподавателя этих языков, учителя Эриха. Эрих был сделан адъюнкт-профессором и читал в университете латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, как все говорили, имел глубокие познания в древних и новых языках, была в высшей степени карикатурна и забавна, а русский язык он так коверкал, что без смеха нельзя было его слушать. Впрочем, к русскому языку он обращался только в крайности, видя иногда, что ученик не понимает его, хотя он для лучшего уразумения прибегал уже ко всем ему известным языкам. Эрих даже и

фамилии наши переиначивал по-своему. Студента Безобразова, напр., звал «гер Абразанцов», а меня то «гер Аксаев», то «гер Ачаков» и никогда Аксаков, хотя очень меня знал, потому что нередко бывал у адъюнкта Г. И. Карташевского, у которого я прежде жил. Тимьянский передразнивал Эриха в совершенстве. Я также умел несколько передразнивать своего наставника, и мы с Тимьянским нередко потешали студентов, представляя встречу на улице и взаимные приветствия наших адъюнкт-профессоров. Но виноват! воспоминания юношества увлекли меня в сторону, возвращаюсь к предмету моего рассказа. Этот студент Тимьянский, считавшийся у нас первым латинистом и, вероятно, знавший тогда не очень много по-латыни, скоро обратил на себя внимание Фукса, понравился ему за свою латынь и стал ездить к нему на квартиру: Фукс нанимал прекрасный дом Жмакина на Арском поле. Однажды Тимьянский при мне рассказывал, что видел у профессора большое собрание многих насекомых, и в том числе бабочек, и что Фукс обещал выучить его, как их ловить, раскладывать и сушить. В эту самую минуту я только что воротился в университет с кулачного боя, который видел первый раз в моей жизни. Это было в январе или феврале 1806 года. Я сам в свою очередь горячо рассказывал товарищам о виденном мною и пропустил мимо ушей слова Тимьянского.

Тогда в Казани происходили по зимам, на льду большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между татарскими

слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осокина; и татарские, и русские слободы были поселены по противоположным берегам озера Кабана¹. Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одолевать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног, и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену – и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятити их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне сказывали, что когда случалось одолевать та-

¹ Татарские и суконные слободы существуют и поныне, но крепостные крестьяне уже откупились и записались в мещане.

тарам, то они преследовали русских даже в их избах и что тут-то вновь восстанавлился ожесточенный бой, в котором принимали участие и старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попало. Такая схватка всегда оканчивалась бегством татар.

Весною 1806 года я узнал, что Тимьянский вместе с студентом Кайсаровым уже начинают собирать насекомых и что способ собирания, то есть ловли, бабочек и доски для раскладывания их держат они в секрете. Тогда только вспомнил я, что уже слышал об этом. Вдруг загорелось во мне сильное желание самому собирать бабочек. Я сообщил об этом другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудил в нем такую же охоту. Сначала я обратился к Тимьянскому с просьбой научить меня производству этого дела; но он не согласился открыть мне секрета, говоря, что тогда откроет его, когда сделает значительное собрание, а только показал мне несколько экземпляров высушенных бабочек и насекомых. Это воспламенило меня еще больше, и я решился сейчас ехать к профессору Фуксу, который был в то же время доктор медицины и начинал практиковать. Я приехал к нему под предлогом какого-то выдуманного нездоровья. В кабинете у профессора я увидел висящие по стенам ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках, превосходно сохранные и высушенные, такие прелестные бабочки, каких я и не видывал. Я пришел в совершенный восторг и поспешил объяснить кое-как Фуксу мою страстную любовь к есте-

ственной истории и горячее желание собирать бабочек, прося его в то же время научить меня, как приступить к этому делу. Профессор был очень доволен и охотно рассказал мне все подробности этого искусства, не мудреного, но требующего осторожности, терпения и ловкости. Он тут же показал мне все нужные инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания их. Я знал, что Панаев на все это будет гораздо искуснее меня: он был великий мастер на все механические мелкие ручные работы, – и потому выпросил позволение у Фукса привести к нему на другой же день Панаева с несколькими живыми бабочками, которых профессор обещал при нас же разложить для сушки. А как я хотел не только ловить бабочек, но и собирать гусениц для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фукс объяснил мне и снабдил меня наставлениями, как различать червяков, из которых должны выводиться бабочки, от тех червей, из которых выводятся другие разные насекомые, как их содержать, чем кормить и вообще как с ними обращаться. Мы с Панаевым также решились хранить в тайне наше предприятие не только от Тимьянского, но и от всех других студентов. На другой день, наловив кое-каких бабочек в саду, отправились мы к Фуксу, который при нас же разложил двух бабочек, а третью дал разложить Панаеву, желая, чтобы он первый опыт сделал у него на глазах. Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно креп-

ко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам, что мы можем обойтись и без них. Потом он взял булавку, величина которой должна быть соразмерна величине бабочки, и проколол ей спинку сверху вниз, выпустив конец булавки настолько, насколько было нужно для втыканья его в дерево. Пропустив кончик булавки сквозь карточку, он слегка нагрел его на свечке: предосторожность, необходимая для того, чтобы тело насекомого присохло и не вертелось на булавке. Потом взял гладкую липовую дощечку (липовая мягче других) с вынутыми во всю ее длину ложбинками²: пошире для бабочек, у которых брюшко потолще, и поуже для тех, у которых туловище тоньше. В одну из таких ложбинок Фукс опустил туловище бабочки и воткнул конец булавки настолько, чтобы крылушки пришлись как раз к поверхности дощечки. Наконец, он взял узенькие полоски почтовой бумаги, нарочно для того нарезанные, наложил одну из них на верхнее и нижнее крылья бабочки, прикрепил сверху булавкой и особым инструментом, похожим на длинную иглу или шило (большая длинная булавка может всегда заменить его), расправил им крылья бабочки, сначала одно, а потом другое, ровно и гладко, так, чтобы верхнее не закрывало нижнего, а только его касалось; в заключение прикре-

² Теперь это делается иначе: дощечки прорезываются насквозь, и вместо дна вставляется пробка.

пил, то есть воткнул булавку в нижний конец бумажки и в дерево. Очевидно, что все умение и ловкость заключались в расправлении крыльев бабочки: надобно было их не прорвать, не измять и не стереть с них пыль. Через несколько дней бабочка высохнет; тогда бережно снимаются с нее бумажки, и бабочка перемещается в ящик или шкаф, в котором она должна храниться. Третью бабочку разложил Панаев, и с первого раза так искусно, что Фукс, повторяя беспрестанно: «*Bien, très bien, parfaitement bien*»³ провозгласил, наконец, торжественно: «*Optime!*»⁴.

И вот закипела у нас с Панаевым молодая пылкая деятельность! Липовые сухие доски и дощечки гладко выструганы под личным присмотром моего товарища, а ложбинки искусно и ловко вынуты им самим; отысканы толстые, так называемые *фунтовые*, булавки для раскладки и прикрепления бабочкиных крыльев; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не прорывалась, как это случалось у Фукса. Рампетки для ловли бабочек сделали двух сортов: одни с длинными флеровыми или кисейными мешочками, другие – натянутые, как рампетки, которыми играют в волан. Рампеткой первого вида надобно было подхватывать бабочку на лету и завертывать ее в мешочке, а рампеткой второго вида надобно было сбивать бабочку на землю, в траву, или накрывать ее, сидящую на каком-нибудь цветке или растении. Первый

³ Хорошо, очень хорошо, превосходно (*фр.*).

⁴ Замечательно (*лат.*).

способ очевидно лучше: пыль с бабочки стирается меньше; но действовать рампеткою с мешочком требовалось больше ловкости и проворства. В два дня все было готово, и благодаря неусыпным, горячим хлопотам моим, а также стараниям и уменью моего товарища все было придумано и устроено гораздо лучше, чем у профессора Фукса.

Раскладывание бабочек Панаев решительно взял на себя: разложив их еще несколько экземпляров, он стал совершенным мастером в этом деле. Ловлю бабочек за городом мы положили производить вместе, кроме каких-нибудь особенных случаев, а воспитание червей, до превращения их в хризалиды, отыскивание готовых куколок и хранение и тех и других, до превращения их в бабочки, я принял уже на свое попечение. Кроме того, что я имел особенную охоту к наблюдению за жизнью и нравами всего живущего в природе, меня подстрекнули слова Фукса, который сказал, что бабочки, выводящиеся дома, будут самыми лучшими экземплярами, потому что сохранят всю первородную яркость и свежесть своих красок; что бабочки, начав летать по полям, подвергаясь дождям и ветрам, уже теряют несколько, то есть стирают или стряхивают с себя цветную пыль, которою, в виде крошечных чешуек, бывают покрыты их крылья, когда они только что выползут из скорлупы хризалиды, или куколки, и расправят свои сжатые члены и сморщенные крылушки.

Оставив адъюнкт-профессора Л. С. Левицкого, у которого я не в силах был прожить более двух месяцев, о чем сказа-

но подробнее в моих «Воспоминаниях», я жил тогда, в первый раз в моей жизни, сам по себе, полным хозяином, на собственной квартире. Я нанимал флигель у какого-то обруселого немца Ег. Ив. Германа, сын которого, Александр, был некогда моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте; он жил у меня во флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и народных гуляньях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то есть весной, в Казани происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вот по какому поводу: как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст (иногда более десяти) свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется, верстах в трех, и, пополнив его неподвижные воды, устремит их в канал, или проток, называемый Булак (мелкий, тинистый и вонючий летом), который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется с рекой Казанкой⁵.

⁵ Водополье озера Кабана, по особенному положению его местности, очень замечательно. Кабан, в который стекается множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излишнюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда, вышед из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня, Булак принимает обратно мутные и быстрые волны этой реки; Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек, снова заставляет переполненные воды Кабана, опять по Булаку, устремляться в Казанку. Этим любопытным наблюдением и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории обязан я молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Н. П. Вагнеру.

Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: «Лодки пришли» мгновенно оживляет весь город⁶. По берегам Булака устраивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на Святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и снаружи или только внутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все вооруженные новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водою друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного, торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских —

⁶ Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в больших размерах, как мне сказывали; вся же местность торга на водах и берегах Булака получила общее название «Биржи».

очень живописны. Мы с Германом часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не намерен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и отыскиванию хризалид и что буду очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение, ему приятнее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях, но делать было нечего, и он волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у меня довольно, и я назначил одну из них, совершенно отдельную, исключительно для помещенья, на особых столах, стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коробок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растениями, которые служили им обыкновенной пищей. Для того чтобы воздух мог проходить в ящики и коробочки, крышки их были все исколоты толстой булавкой. То же сделал я с бумагою, которою обвязывались стеклянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был, точно, моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочисленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный и противный запах, так что без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать за моими питомцами; Герман же перестал и ходить туда, уверял даже,

что во всем флигеле воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для денных, сумеречных и ночных хризалид были назначены особые ящики. Квартира моя имела еще то удобство, что находилась на каком-то пустыре, окруженном с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и заросшими травой. Я немедленно осмотрел их с большим вниманием и, к удовольствию моему, увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном Озере, вместе с четырьмя братьями, в собственном доме, был под руками тоже довольно большой сад, превращенный частью в огород, совершенно запущенный, что, однако, не мешало залетать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панаевым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десятков таких бабочек, которые хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в нашем собрании. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но, увы! какие тайны сохраняются строго! На другой же день знали в университете о нашем предприятии. (Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые были тогда своекоштными гимназистами.) Мы решились более не скрываться, да и Тимьянский с Кайсаровым последовали нашему примеру; но тем не менее между нами установилось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было старше нашего и успело собрать до тридцати экземпляров

тогда, когда у нас не было еще ни одного; но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с своими соперниками. Впоследствии студенты разделились на две стороны, из которых одна более хвалила собирание бабочек у казенных студентов, а другая – у своекоштных, то есть у меня и Панаева. Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я, даже не испытав еще настоящим образом удовольствие ловить бабочек особенно редких или почему-нибудь замечательных, – я уже всею душою, страстно предался новому увлечению, и в это время, кроме отыскивания червяков, хризалид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рампетками: одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на снурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и легавой собакой, в изобильное первоклассною, благородною дичью бо-

лото!.. Да и какой весенний день сиял над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле...⁷ И вот он, наконец, перед нами, старый, заглохший сад, с темными, вековыми липовыми аллеями, с своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Волховским⁸. Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в наших поисках. Мы решились пройти первую представившуюся нам широкую поляну вместе, то есть на расстоянии шагов ста один от другого. Только тронулся я с места по росистому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побежал и начал что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наше условие, чтобы не сходитьсь друг с другом, если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной добычей. Я опрометью прибежал к Панаеву и увидел, что он, точно, ловит какую-то красивую бабочку, никогда мною не виданную. Я бросился ему

⁷ Арское поле теперь почти не существует: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на нем стародавнее трехдневное гулянье, начинавшееся с Троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое место.

⁸ Сады Волховской и рядом с ним Нееловский существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает: они составляют сад Родионовского института благородных девиц.

помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь, чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно. Бабочка, испуганная нашим преследованием, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня и положительно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива и что едва ли это не была Ириса или Глазчатая Нимфа. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдержал обещание. Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то поймав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне стоило большого труда, чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, мелькнула перед моими глазами, бросая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень счастливо: очень скоро поймал; руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить слегка грудку моей пленницы, чтобы привести ее в обморочное состояние; без этой печальной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящике и испортила бы свои бархатные крылушки. Эту дневную бабочку я

сейчас узнал: она находилась уже в собрании у Тимьянского и была в точности определена по Блуменбаху и утверждена Фуксом: она называлась Антиопа. Но каким жалким образом описывает ее Блуменбах: «Антиопа, бабочка Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем». Вот и все. Ну какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет. Тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принадлежит к числу замечательных русских бабочек; темно-кофейные, блестящие, лаковые ее крылья, по изобилию цветной пыли, кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как будто мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета; края крыльев, и верхнего и нижнего, оторочены бледно-желтою, палевою, довольно широкою зубчатою каемкою, вырезанною фестончиками; такого же цвета две коротеньких полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы, по обоим крыльям, размещены яркие синие пятнушки; глаза Антиопы и булавообразные усы, сравнительно с другими бабочками, очень велики; все тело покрыто темным пухом; испод крыльев не замечателен: по темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками⁹. Я был очень доволен, что у нас

⁹ Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описаниями натуралистов. Она происходит оттого, что многие денные бабочки имеют два вылета: весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек бледнее (ибо они перезимовали), а осенних

есть Антиопа. Поймав еще несколько бабочек, не известных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видел издавлек, сошелся я наконец с Панаевым. Он также поймал Антиопу и таких же ярко-голубых и красно-золотистых маленьких бабочек, какие были и у меня в ящичке; я, сверх того, нашел несколько червей, из которых один, очень мохнатый, известный под именем Поповой Собаки, обещал очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют обыкновенно восемь пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотрительность заготовить хлеб и сыр. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив место, где мы должны сойтись. Волховской сад был нам хорошо известен; мы хаживали в него гулять, а также и в другой, кажется, рядом с ним лежащий, Нееловский сад.

Я не видал этих садов пятьдесят два года. Они представляются мне теперь огромными и таинственными и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть может, что они совсем не таковы и даже не велики. Мне не раз случалось увидеть в совершенных летах, после долгого промежутка, то место, где в ранней молодости часто гулял, или тот дом, в котором я долго жил; всегда я бывал поражен тем, что находил их миниатюрными в сравнении с теми об-

гораздо ярче. Вообще я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий и взглядов на науку. В пятьдесят лет она ушла далеко.

разами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось с садами Волховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей, что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за пятьдесят лет.

Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, некоторых вовсе мне не известных, и предполагая, что иные из них, по оригинальности цветов и форм, должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризалид и ночных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем дневные. Находя червяка, я всегда срывал растение или ветку того куста или дерева, на котором находил его, для того чтобы знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много; но сажать их было некуда, ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризалид и ночных бабочек: я осматривал для этого испод листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре; наконец, осматривал полусгнившие места заборы, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожидания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рассказать, да и меня не стал слушать, говоря: «Если мы еще промешкаем, то многие бабочки, у которых грудки слишком силь-

но сжаты, высохнут и раскладывать их будет невозможно». Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сейчас согласился, и мы отправились домой, то есть прямо к Панаеву, на Черное Озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги, удачи и неудачи и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом. Боже мой, как весело было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое младших (старшие были также студенты), с нетерпением нас ожидали. Они все принимали живое участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, посадили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенные и оборотные: оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились обороченные вверх исподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так делалось, по словам Фукса; но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод довольно красив; есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней¹⁰.

¹⁰ Теперь это делается иначе, как я узнал от Н. П.: ящик имеет стеклянное дно и, обернув его, можно видеть испод бабочкиных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману и Бутлерову.

При разборе наловленных бабочек оказалось, что мы оба с Панаевым, особенно я, по моей торопливости и горячности, не всегда в надлежащей мере сдавливали им грудки; некоторые совершенно отдохнули, вероятно, бились и, по тесноте помещения, потерялись, то есть сбили пыль с своих крылушек; по счастью, лучшие бабочки сохранились хорошо. Собрание наше увеличилось двадцатью новыми экземплярами, из которых половина была тогда же определена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть; остальных же мы никак отыскать не могли, потому что Блуменбах очень краток в своих описаниях и неточен, да к тому же многих родов бабочек в нем вовсе не находится. Например, у него ни слова не сказано о маленьких голубых и оранжево-золотистых бабочках, блестящих, совершенно как эмаль, серебристым и золотистым блеском. Бабочки эти положительно дневные и появляются иногда во множестве. Точно такую голубую бабочку я видел один раз большую, но, к сожалению, поймать ее не мог.

Вот те бабочки, которых можно было определить с достоверностью. Дневные: Капустная бабочка (*Brassicae*)¹¹, с черными кончиками и такими же двумя черными пятнушками; испод крыльев желтоватый; ее не надобно смешивать с обыкновенной капустной бабочкой, которая имеет несколько видов. Бабочка Ио или Глазчатая Нимфа, довольно большая, очень красивая и редкая; крылушки у ней угловато-зубча-

¹¹ Эти бабочки теперь не попадают в Казани.

тые, цветом темно-вишневые; на каждом крыле находится по большому глазку голубовато-лилового цвета, по которому сбоку идут по пяти маленьких белых пятнушек. Глазки на верхних крыльях имеют неполный желтый ободочек, а глазки на нижних крыльях – темный. Испод крыльев темный. Оторочка крыльев черная. На верхних крыльях, возле глазков, после темного промежутка, ближе к туловищу, находится по желтоватому пятну или короткой полоске. Бабочка Галатея (*Galathea*), имеющая крылушки зубчатые, испещренная по бледно-палевому цвету черными пятнушками. На передних крыльях, с испода, находится по одному, а на нижних по пяти или более бесцветных очков или кружочков. Она также теперь в Казани не попадается. Бабочка С. (*S. Album*); ее поймал Панаев. Этой бабочке мы очень обрадовались, потому что, читая ее описание, нам казалось очень странным, даже невероятным, как это у бабочки на крыльях изображена белой краской буква С., да еще и с точкой? Эта бабочка средней величины, крылушки у ней по краям вырезаны уголками или городками; цветом желтовато-красная, с черными клетками и пятнушками, на нижних крыльях, по темному полю, с испода, очень ярко означена белым цветом буква С., и возле нее белая же точка. Бабочка Аглая (*Aglaia*), как называет ее Блуменбах, называлась у нас, со слов профессора Фукса, *перламутровою*. Крылья у ней кругловатые, желто-бурые, с черными пятнушками, правильно расположенными, как будто в графах; испод же крыльев, по Блуменбаху,

«имеет на каждой стороне по 21 пятну серебряному», но в действительности цвет их похож не на серебро, а на перламутр. Их даже нельзя назвать пятнами, а гораздо будет точнее, если сказать, что испод крыльев этой бабочки весь перламутровый, расчерченный темными полосками на клеточки разной величины и фигуры, из коих некоторые кругловаты. Бабочка Проскурняковая (Malvoe), названная так потому, что водится на полевых рожках, или проскурняке; она имеет темные крылья с белыми пятнами, зубчатые по краешкам. Сумеречных находилось три бабочки и одна ночная. Первая из них называется Олеандровая сумеречная бабочка (Nerii), и хотя сказано у Blumenбаха, что она водится на олеандре, следовательно, не должна жить в России, но ее зеленого цвета угловатые крылья с разными, то бледными, то темными, то желтоватыми, повязками, описанные верно у Blumenбаха, не оставляют сомнения, что это она и что она живет в Казанской губернии¹². Молочайная сумеречная бабочка (Euphorbioe) имеет довольно большие бурые крылья; на передних лежит поперек бледно-розовая, а на задних – красная струя или повязка; очень красива. Бабочка Барашек (Filipenduloe), в двух видах. У Blumenбаха описан только первый вид, большей величины, и она названа *не настоящею сумеречною бабочкою*, вероятно, потому, что хотя у нее крылушки длинны и она складывает их, как сумеречная бабочка,

¹² Род Сфинкса. Около Казани ее уже нет, и она встречается не ближе Сарепты.

в треугольник, но усы толстые, булавообразные¹³ и летает она хотя мало, но днем, а в сумерки мне не случилось ее видеть. Она очень красива, и я, завидя ее перелетывающую перелетом изумрудных букашек, не считал бабочкой; когда же она села на траву, то я разглядел ее и пришел в восхищенье! Верхние крылушки у ней точно бархат, зеленоватые, отливают голубым гляncем, и каждое крыло имеет шесть ярко-пунцовых точек или пятнушек, а нижние крылушки гораздо меньше верхних, чисто пунцовые, с узкой черной каемкой; все тело зеленовато-голубое с отливом. Второй вид Барашка был пойман Панаевым; он несколько поменьше, верхние крылушки коричнево-зеленоватые, с такими же красивыми пятнушками, а нижние бледно-розовые или желтовато-розовые. Этими бабочками мы долго гордились, потому что наши соперники не могли долго достать их. Но я всего более радовался Хмелевой ночной бабочке (*Humuli*), которую нашел в дупле старой липы. У нее была совершенно совиная головка, тело красно-желтое, а крылья белые, как снег, с верхней стороны, а с испода темно-бурые; вдобавок она была так свежа, как будто сейчас вывелась. По Блуменбаху, это был самец, самка же красновато-желтого цвета.

Разложивши бабочек, досыта налюбовавшись ими и пообедав на скорую руку с другом моим Панаевым (братья его

¹³ Вероятно, память обманывает меня: булавообразных усов у Барашка, по всем рисункам, нет, а есть обыкновенные усики сумеречных бабочек, широкие в середине и узенькие к концам.

давно уже отобедали, зная наперед, что мы вернемся поздно), я поспешил домой: мне нужно было разместить моих червячков и куколок; и тех, и других нашлось до тридцати штук. Хризалид дневных бабочек я старался развесить¹⁴ на стенках или приклеить к верхней крышке ящика, который нарочно открывался сбоку; но это было очень трудно сделать, потому что клейкая материя, похожая на шелк-сырец, которою червячки приклеивают свой зад к исподу травяных и древесных листьев, а в дуплах и щелях – к дереву, уже высохла, и хотя я снимал хризалид очень бережно, отделяя ножичком приклейку, но, будучи намочена, она уже теряла клейкость, не приставала и не держалась даже и на стенках ящичка, не только на верхней крышке. Впоследствии Панаев придумал приклеивать их вишневым клеем, что вышло очень удобно. Куколок же сумеречных бабочек, закутанных в каком-то пухе или гнезде, и куколок ночных бабочек, которых было у меня всего две и которые лежали в кругловатых яичках, оболочка которых была очень крепка, – я положил в особый ящичек, прикрыл их расщипанной хлопчатой бумагой и защитил от влияния света, потому что ночных хризалид всегда находишь в густой тени.

На другой день поутру явились мы с Панаевым в университет за полчаса до начала лекций, чтобы успеть рассказать о своих приобретениях и чтобы узнать, удачна ли была ловля наших соперников: мы знали, что они также собирались ид-

¹⁴ Потому что они сами всегда устраивают себя в всячем положении.

ти за город. Признаться, мы думали похвастаться своей добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей стороне. Но только мы вошли в дортуары, как несколько человек студентов, принимавших более живое участие в предприятии Тимьянского и Кайсарова, встретили нас громкими восклицаниями: «Ну, господа, каких бабочек поймал Тимьянский с Кайсаровым, так это чудо! Вам уж эдаких не достать; и какую пропасьть наловили всяких редких насекомых! Они и теперь возьтятся с ними наверху, в аудитории Фукса; даже Кавалера Подалириуса достали!»¹⁵ Мы с Панаевым были очень озадачены и смущены таким известием. Особенно Кавалер как громом поразил нас. Тут узнали мы от своих словоохотливых товарищей, что вчера Тимьянский и Кайсаров, вместе еще с тремя студентами, Поповым, Петровым и Кинтером, уходили на целый день за город к Хижицам и Зилантову монастырю (известное место, верстах в четырех или пяти от Казани), что они брали с собой особый большой ящик, в котором помещались доски для раскладывания бабочек и сушки других насекомых, что всего они набрали штук семьдесят. Мы поспешили наверх и там своими глазами убедились, что торжество было на стороне наших противников. Они поймали по несколько экземпляров всех бабочек, пойманных вчера мною и Панаевым, кроме Барашков и Хмелевой ночной бабочки, да сверх того более десяти не

¹⁵ У Blumenбаха, в русском переводе, он назван *Подалирий*, но мы всегда проносили по-латыни: Podalirius.

известных нам видов, в том числе двух Кардамонных бабочек, бывающих не каждый год в окрестностях Казани; но что всего важнее: они поймали Кавалера Подалириуса. Когда я взглянул ка него, во всей красе и величине разложенного на доске, со шпорами на задних крыльях, сердце у меня забилося от удовольствия и зависти! Надобно сказать, что во всем многочисленном царстве бабочек находится, по Блуменбаху, только четыре Кавалера; первый из них называется «Приам, бабочка Кавалер Троянский (так говорит Блуменбах), у коего крылья зубчатые, пушистые, сверху зеленые, с черными полосками, а задние с шестью черными пятнами. Водится в Амбоине. Он так, как и следующая порода, есть самое большое великолепное насекомое». Второй: «Улис, бабочка Кавалер Ахивский, у коего крылья бурые с хвостиками (то есть со шпорами), а верхняя их сторона синяя, блестящая и с зубчиками. Задние крылья имеют по семи глазков. Водится также в Амбоине». Уже из этого краткого и скудного описания можно себе вообразить, что за красивые, прелестные создания эти два Кавалера. Фукс видел их и говорил, что они величиною с летучую мышь и так хороши, что трудно описать¹⁶. «Третий Кавалер, Махаон, и четвертый, Подалириус, водятся в Европе» – и одного-то из них удалось поймать нашим соперникам! Не зная тогда, что последние два вида Кавалеров водятся везде в России и что они не слишком редки,

¹⁶ Теперь считается до десяти видов Кавалеров, водящихся в Европе; китайские же бабочки (*Aglia* и *Strex*) превосходят их величиною вчетверо.

мы с Панаевым не могли не завидовать счастью Тимьянского, поймавшего чудного Подалириуса.

Тимьянский видел наше смущение и с торжествующей улыбкой сказал: «Вот, господа, я вам показываю всех наших бабочек, покажите же и вы нам своих». Панаев отвечал, что экземпляров у нас мало, следовательно показывать нечего, но что, пожалуй, мы привезем завтра или послезавтра, когда бабочки все высохнут, особенно одна, очень толстая, Хмелевая бабочка. «Разве у вас есть Ночная Хмелевая? – спросил Тимьянский с удивлением. – Ведь это редкость!» Я отвечал, что есть, что я нашел ее в дупле и совершенно свежую, то есть не потертую. Заметно было, что Тимьянский в свою очередь позавидовал Хмелевой бабочке; это нас утешило. Когда же мы вышли, то Панаев весело сказал мне: «А видел ли ты, как нечисто, неопрятно разложены у них все бабочки? Ведь они нашим в слуги не годятся!» Хотя я не обращал на это обстоятельство особенного внимания, но тут припомнил, что Панаев совершенно прав, – и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорские лекции.

На другой же день нам удалось умножить наше собрание еще тремя сумеречными, необыкновенно красивыми, бабочками, которых и воткнуть иначе было нельзя, как на самые тоненькие кружевные булабочки, по миниатюрности их тела. При раскладке их Панаев вполне выказал свою ловкость и уменье. Я поймал их в оврагах около моей квартиры, куда заглянул случайно. Солнце было еще высоко, а в оврагах

была уже тень, и сумеречные бабочки начали летать.

Через два дня повезли мы наш ящик, с тридцатью пятью экземплярами бабочек, в университет, на показ своим товарищам. В одну минуту все сошлись смотреть их, и, конечно, всякий видел превосходство нашего собрания относительно целостности, свежести и правильности раскладки наших бабочек; особенно нельзя было не удивляться маленьким прелестным ночным бабочкам, казавшимся совершенно живыми, потому что крошечных булабочек, на которых они торчали, совсем было незаметно. К этому надо прибавить, что ящик, внутренняя его оклейка, стекло, петли и замок – все было прекрасно благодаря попечениям Панаева. Разумеется, наружность бросилась в глаза всем; но Тимьянский очень хорошо видел, понимал и ценил, так сказать, внутреннее достоинство нашего собрания. Не без досады и, может быть, зависти, он холодно хвалил наших бабочек, особенно Ночную Хмелевую и Барашков, но сделал замечание, что бабочки слишком вычурно разложены, как-то напоказ, и что им дано неестественное положение. Если в последнем обвинении была своя доля правды, то это не наша вина: этот способ был принят всеми натуралистами. Я поспешил сказать о том в наше оправдание и прибавил в оправдание натуралистов, что дневные бабочки часто принимают точно такое положение, в каком раскладываются; что, конечно, сумеречные и особенно ночные бабочки, когда сидят, не расширяют своих крыльев, а складывают их повислым треугольни-

ком, так что нижних крыльев под верхними не видно; но если их так и высушивать, то они потеряют половину своей красоты, потому что нижние крылья бывают часто красивее верхних, и, что, глядя на такой экземпляр, не получить настоящего понятия о бабочке. «Да ты разве не так же раскладываешь? – сказал Панаев. – Верхние крылушки у тебя так же приподняты, а только нижние висят. Это разве естественное положение?» Но Тимьянский не соглашался и доказывал, что его способ раскладывания гораздо натуральнее; многие приняли его сторону, многие нашу, из этого вышел спор, и мы расстались с своими соперниками хотя без явного неудовольствия, но с холодностию. Впоследствии они прозвали нас «богачами-щеголями» и называли так даже в глаза, что, признаюсь, было мне очень досадно, особенно потому, что было совершенно несправедливо; ящик наш, пожалуй, можно было назвать щеголеватым, но нисколько не богатым; все достоинство заключалось в чистоте отделки, до чего Панаев был большой охотник и за чем сам заботливо смотрел. Один из студентов, принадлежавший к противной партии, Михайло Пестяков, прозвал наше собрание бабочек «дворянским». Это прозвище также было в ходу, потому что, как нарочно, все наши противники были разночинцы, от которых мы с Панаевыми отличались в гимназии красными воротниками; это было очень прискорбно, потому что прежде у нас никогда не было слышно ни одного слова и даже намёка на различие сословий. Благодаря бога все эти несколько

неприятные отношения впоследствии исчезли, и мы уже соперничали дружески в общем деле, не завидуя друг другу. Кроме бабочек, которых у Тимьянского было более пятидесяти, он набрал уже около сотни разных насекомых: некоторые блистали яркими радужными красками, особенно из породы жуков, божьих коровок, шпанских мух и также из породы коромыслов; а некоторые отличались особенностью и странностью своего наружного вида; но все они мне не нравились и даже были противны. Бабочки, бабочки! – вот к чему я привязывался с каждым днем более.

При первой возможности мы с Панаевым отправлялись за город; посетили сад Нееловский, Госпитальный и даже сад Чемесова, который был, впрочем, не за городом, а на краю города; бабочек в последнем мы нашли мало, но зато долго любовались на сотни кроликов, которым был отведен во владение довольно высокий пригорок или холм (не умею сказать, натуральный или искусственный), обнесенный кругом крепким забором. Кроликов развелось там невероятное множество; вся гора была изрыта их норами; они бегали целыми стаями и очень забавно играли между собой; но при первом шуме или стуке, который мы от времени до времени нарочно производили, эти трусливые зверки пугались и прятались в свои норы¹⁷.

Мы ходили с Панаевым также на пасеку, или посеку, и на-

¹⁷ Чемесов сад существует и теперь, но находится в большом запущении, и кроликов уже давно нет.

ходящиеся по обеим ее сторонам гористые места, или, лучше сказать, глубокие овраги, обраставшие тогда молодым лесом, за которыми впоследствии утвердилось название Казанской Швейцарии, данное нами, то есть казанскими студентами. До сих пор эти места служат любимым гуляньем для жителей Казани. Я слышал даже, что это место разделяется на две половины: одна называется Немецкою, другая Русскою Швейцариєю; последняя ближе к городу. Поиски наши были более или менее удачны, и мы, мало-помалу, приобрели всех тех бабочек, которые находились в собрании Тимьянского и которых нам недоставало, кроме, однако, Кавалера Подалириуса. Мы даже не имели надежды достать его, потому что появление Кавалера в окрестностях Казани считалось тогда редкостью. Кавалер Подалириус торчал, как заноза, в нашем сердце! Не скоро достали мы и Кардамонную бабочку, которая, не будучи особенно ярка, пестра и красива, как-то очень мила. Ее кругловатые, молочной белизны крылушки покрыты каким-то особенным, нежным пухом; на каждом верхнем углу верхнего крыла у ней находится по одному пятну яркого оранжевого цвета, а испод нижних крыльев – зеленовато-пестрый. Но самыми красивыми бабочками можно было назвать, во-первых, бабочку Ирису; крылья у ней несколько зубчатые, блестящего темно-бурого цвета, с ярким синим яхонтовым отливом; верхние до половины перерезаны белою повязкою, а на нижних у верхнего края находится по белому очку; особенно замечательно, что ис-

под ее крыльев есть совершенный отпечаток лицевой стороны, только несколько бледнее. Еще красивее бабочка Аталанта, или Адмирал (*Atalanta*). У ней крылья также зубчатые, черные с лоском, испещренные белыми пятнушками; во всю длину верхних крыльев лежит повязка ярко-пурпурового цвета, а на нижних крылушках такая же повязка, только с черными пятнушками, огибают их боковые края. Надобно признаться, что у нас и у Тимьянского было много бабочек безыменных, которых нельзя было определить по Blumenбаху и которых профессор Фукс не умел назвать по-русски.

Питомники мои были давно уже наполнены червяками или гусеницами, так что и сажать более было некуда. Многие превращались в куколок, а многие умирали, вероятно, от недостатка свежего воздуха или пищи. Трудно было доставать именно то растение, которым они предпочтительно питались; по большей части мы не знали, какое это растение, потому что не знали названия гусеницы. Я обыкновенно набирал всяких трав и старался только чаще их переменять. Каждый день, по несколько раз, наблюдал я за моими питомцами, и это доставляло мне большое наслаждение. Те червяки, которые попадались мне в периоде близкого превращения в куколок, почти никогда у меня не умирали; принадлежавшие к породам бабочек дневных, всегда имевшие гладкую кожу, прикрепляли свой зад выпускаемую изо рта клейкой материей к стене или крышке ящика и казались умершими, что сначала меня очень огорчало; но по большей части в про-

должение суток спадала с них сухая, съежившаяся кожица гусеницы, и висела уже хризалида с рожками, с очертанием будущих крылушек и с шипообразною грудкою и брюшком; многие из них были золотистого цвета. Можно себе представить мою радость, когда, вместо мнимо умиравшего жалкого червяка, вдруг находил я миловидную куколку. Гусеницы сумеречных бабочек, более или менее волосистые, где-нибудь в верхнем уголку ящика, или под листом растения, положенного для их пищи, заматывали себя вокруг тонкими нитями той же клейкой материи, с примесью волосков, покрывавших туловище, — нитями, иногда пушистыми, как хлопчатая бумага, иногда покрытыми сверху белым, несколько блестящим лаком, что давало им вид тонкой и прозрачной, но некрепкой пелены. Гусеницы ночных бабочек, почти всегда очень мохнатые, кроме немногих исключений, устраивали себе скорлупообразные яички, или коконы, ложились в них, закрывались наглухо и превращались в куколок; у обеих последних пород свалившаяся сухая кожица червяка всегда лежала вместе с хризалидой внутри гнезда. Сумеречные и ночные куколки имели гладкую овальную наружность без всяких угловатостей и выпуклостей, но также с очертанием головы, крыльев, усиков, ножек и брюшных колец. Цветом они бывают всегда темные, а некоторые породы ночных совершенно черные. Червяки молодые, которым должно было прожить до превращения в хризалиду определенный, весьма различный срок времени, если не погибали от голода и

духоты, то раза два или три переменили на себе кожу и всякий раз перед такой переменой впадали в сон или обморочное состояние, не прикрепляя, однако, своего тела ни к какому предмету. Вероятно, сначала я выкидывал некоторых, считая их уже умершими. Обновленный червяк, казавшийся сначала слабым или больным, выходил всегда цветнее, пушистее прежнего, с невероятною жадностью накидывался на пищу и скоро поправлялся. Из числа тех хризалид, которые превращались из червячков не у меня, а на воле, выводились иногда какие-то летучие тараканы, отвратительные по своей наружности. Из этого должно заключить, что куколки их похожи на бабочкины, потому что я не мог различить их¹⁸. Выводились также иногда бабочки-уродцы: с одним маленьким крылом, или совсем без одного крыла, или с таким, которое не расправлялось и оставалось навсегда свернутым в трубочку. Фукс не мог удовлетворительно объяснить мне причины таких явлений. Я предполагаю, что хризалиды бабочек-уродцев были как-нибудь помяты или зашиблены и что оттого крылушко на больной стороне не достигало полного своего развития. Весьма часто случалось, что пойманная бабочка,

¹⁸ Вот как тот же почтенный молодой ученый, о котором я уже говорил, Н. П. В., объясняет это странное явление: «Существует четырехкрылое насекомое, называемое *Наездник*; оно кладет свои яйца в гусеницы бабочек; вышедшие из этих яиц червячки живут в гусенице и питаются ее внутренностями, что не мешает ей превратиться в куколку. В ней совершается превращение червячков *Наездника*, которые потом и выходят из нее, так что вместо ожидаемой бабочки является отвратительная оса, или *Наездник*».

по большей части в ту минуту, когда ее раскладывали почти умирающую, выпускала из себя множество яичек, из которых впоследствии образовывались крошечные червячки; это и не удивительно, потому что бабочка могла быть прежде оплодотворена; но вот что достойно замечания, что выведшаяся у меня ночная свечная бабочка, через несколько часов разложенная, также при этой операции выпустила из себя яички, из которых впоследствии вылупились червячки¹⁹. Недавно открыто подобное изумительное явление не только в пчелиных матках, но и в рабочих пчелах²⁰, доказывающее глубокую экономическую предусмотрительность природы.

Когда наше собрание бабочек ни в чем уже не уступало собранию Кайсарова и Тимьянского (кроме, однако, Кавалера), а, напротив, в свежести красок и в изяществе раскладки имело большое преимущество, повезли мы с Панаевым уже два ящика бабочек на показ Фуксу. Профессор рассыпался в похвалах нашему искусству и особенно удивлялся маленьким сумеречным бабочкам, которые были так же хорошо разложены, как и большие. Он очень жалел, что мы не

¹⁹ Несение неоплодотворенных яиц, из которых развивались гусеницы, было давно известно и впервые подмечено у *тли* и очень маленькой породы бабочек *Psyché*. Но мы тогда ничего этого не знали. Одновременно с открытием подобного явления, о котором сейчас будет сказано, оно было замечено у шелковичной бабочки.

²⁰ Брошюра «Три открытия в естественной истории «пчелы», написанная незабвенным, так рано погибшим, даровитым профессором Московского университета, К. Ф. Рулье, напечатанная в Москве 1857 года.

собирали и других насекомых.

Между тем лето вступало в права свои. Прошла весна. Соловей допел свои последние песни, да и другие певчие птички почти все перестали петь. Только варакушка еще передразнивала и перевирала голоса и крики всяких птиц, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, вися где-то в небе, невидимые для глаз человеческих, рассыпали с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Да, прошла голосистая весна, пора беззаботного веселья, песен, любви! Прошли «летние повороты», то есть 12 июня; поворотило солнышко на зиму, а лето на жары, как говорит русский народ; наступила и для птиц пора деловая, пора неусыпных забот, беспрестанных опасений, инстинктивного самозабвения, самопожертвования, пора родительской любви. Вывелись дети у певчих птичек, надобно их кормить, потом учить летать и ежеминутно беречь от опасных врагов, от хищных птиц и зверей. Песен уже нет, а есть крик; это не песня, а речь: отец и мать беспрестанно окликают, зовут, манят своих глупых детенышей, которые отвечают им жалобным, однообразным писком, разевая голодные рты. Такая перемена, совершившаяся в какие-нибудь две недели, в продолжение которых я не выходил за город, сильно поразила и даже опечалила меня, когда я, во второй половине июня, вместе с неразлучным моим спутником Панаевым, рано утром вошел в тенистый Нееловский сад. В прежние годы я не замечал такой перемены.

На сей раз добыча наша была незначительна. Вообще это посещение Нееловского сада осталось памятно для нас неудачами и обманутыми надеждами: Панаев видел Кавалера, но не мог поймать, а я совершенно испортил превосходную розовую ночную бабочку, названия которой не знаю, но которую очень помню особенно потому, что впоследствии имел ее в руках. Нееловская розовая бабочка была замечательной величины, втрое больше розовой свечной, тоже ночной бабочки, которая очень обыкновенна и часто налетает на горящую свечку и обжигает свои крылушки; а испорченная мною была редкая бабочка; яркого алого цвета, бархатная пыль покрывала все ее крылья, головку и туловище, но яркость эта уменьшалась тем, что вся бабочка была исчерчена тоненькими желтыми жилками. Я взял ее очень бережно, подавил грудку и как-то уронил в траву; отыскивая, я наступил на нее ногой – и уничтожил прелестное создание. Смешно вспомнить, как я был огорчен этой потерей и как долго я не мог утешиться. В 1810 году, гуляя в Петербурге, в Летнем саду, я увидел точно такую бабочку, сидящую под широким листом векового клена. По старой охоте, я поймал, разложил, высушил и подарил одному любителю натуральной истории.

Время лечит всякие язвы, и мы с Панаевым примирились с мыслию, что у нас нет Кавалера, а может быть, и не будет. Тимьянский также примирился с общим мнением, что наши бабочки лучше, и утешился тем, что он собирает всех насе-

комых, а мы только часть их, что целое гораздо важнее части.

У нас в университете шли экзамены, которые не имели и не могли иметь формы и условий настоящих университетских экзаменов. Это были семейные, дружеские испытания, или, лучше сказать, это было обозрение всего того, что профессора успели прочесть, а студенты усвоить себе из выслушанного ими. Разделения предметов на факультеты не было, а следовательно, не было ни курсов, ни переходов на них. Конечно, это было детство возникающего университета, но тем не менее тут было много добрых, благотворных начал, прочно подвигавших на пути образованности искренно желавших учиться; немного было приобретено сведений научных, но зато они вошли в плоть и кровь учащих, вполне были усвоены ими и способствовали самобытному развитию молодых умственных сил. Предметы преподавания до того были перепутаны, и совет испытателей смотрел на это так не строго, что, например, адъюнкт-профессор И. И. Запольский, читавший опытную физику (по Бриссону), показывал на экзамене наши сочинения, и заставил читать вслух, о предметах философских, а иногда чисто литературных, и это никому не казалось странным. И. И. Запольский любил пофилософствовать, он был последователь и поклонник Канта; на каждой лекции о физике он как-нибудь припутывал «критику чистого разума». Один раз разговорился он о действующей и конечной причине и потом предложил нам, чтобы каждый из нас, кто понял его слова и кому предмет

нравится, написал о нем хоть что-нибудь и показал ему. Написали человек десять, в том числе и я; и каково же было мое удивление, когда в числе студентских сочинений, читанных на экзамене, попались и мои три странички о действующей и конечной причине! Вероятно, это было самое ребячье и поверхностное понимание предмета. Адъюнкт российского красноречия Л. С. Левицкий, читавший по программе философию и логику, уже давно не занимавшийся своими лекциями и почти переставший ездить в университет, притащился, однако, кое-как на экзамен и перепугал нас своим болезненным видом. Вместо российской словесности он произвел экзамен в логике, которую прежде проходил с нами по рукописной тетрадке, в самом сокращенном объеме; разумеется, он предупредил нас, чтобы мы приготовились к экзамену из логики. Фукс торжествовал с своей натуральной историей, и наши бабочки, и гусеницы, и другие насекомые – все пошли в дело. Тимьянский отличился обширностью своих знаний и латинским языком, но и мне досталось рассказать о моих наблюдениях над воспитанием червей, превращением их в хризалиды и бабочки. Все меня похвалили, даже и те профессора, которые не знали ни одного русского слова, а я говорил, разумеется, по-русски. Лучшим экзаменом, без сомнения, был математический, у Г. И. Карташевского, но я не повинен был в этом блеске и даже не являлся на экзамен. Этот предмет у нас шел блистательно.

По случаю экзаменов заботы о собирании бабочек были

оставлены, да к тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился с старшими братьями Панаева, с которыми прежде всегда был очень дружен; один из них, именно старший, так меня обидел каким-то грубым и дерзким словом, что я вспылил и в горячности дал торжественное обещание не быть у них в доме до тех пор, покуда виноватый предо мною товарищ не попросит у меня прощения. Панаев (Николай) и не думал просить у меня прощения, и я целую неделю к ним не ездил. Друг мой, Александр Панаев, бывал у меня почти каждый день и своими известиями о старших братьях только усиливал мое оскорбление. Мне было особенно досадно на Ивана Панаева, нашего первого лирика; он был прекрасный товарищ, добрый и правдивый, очень меня любил, в семье своей он считался главным – и он не заступился за меня, не заставил брата извиниться передо мною, а еще его оправдывал. Но великие события именно совершаются тогда, когда всего менее можно ожидать их, и мгновенно разрубают крепко затянутые узлы, которые без того не скоро, а может быть, и никогда, не были бы распутаны.

В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их перед обедом; почему? для чего? – и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до полови-

ны ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера... Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника... Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки – и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове – и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как исступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я

в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» – и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич знал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычности события, что он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, – дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, – надо долго еще учиться; ну куда тебе на службу!» Стук подкатившихся дрожек перервал поучительную речь Евсеича, и через минуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к Панаеву. Я живо представил себе его удивление и радость, особенно потому, что мы с полчаса как расстались. Долгим днем показалась мне четверть часа езды до Панаева. Вот он, наконец, белый, засаленный, хорошо знакомый дом. Вбегаю на крыльцо, на лестницу, отворяю дверь в залу и вижу друга моего Александра Панаева, выбегающего из гостиной с окровавленным лицом, зажавшего один глаз рукою... «Что с тобой?» – закричал я. «Я пропал, – с отчаянием отвечал Панаев, – брат Петя нечаянно попал мне в самый зрачок гла-

за фарфоровым верешком. Если я окривею – я застрелюсь. Я бегу к колодцу, чтобы обмыть мой глаз холодной водой». Мы побежали вместе. Панаев так боялся увериться, что глаз у него испорчен, что красота его погибла (он действительно был красавец), что не вдруг решился отнять руку и промыть раненый глаз; я упросил его это сделать, и к великой моей и еще большей его радости, я увидел, что рассечена только нижняя века и слегка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей, который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказало, и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, – отвечал я, – на этот раз сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с полчаса как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он...» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями

последовали за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розовой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», – сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, – никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудовольствия между нами, они упрашивали меня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Ка-

валером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!

Пословица говорит: «Пришла беда – отворяй ворота», – что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (*Ligustri*) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузьяке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней – верхние темно-серого цвета, с белыми пятнами или матово-белые с темными пятнами: я потому говорю *или*, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья – красные, как будто кровавые, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, – это до-

вольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее ночною. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.

На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! – говорил он нам. – Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойдико

достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»

Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адьюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! – говорил он. – Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду

ду, как много ему обязан.

Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым – в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жили их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось²¹, да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение – также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадыю. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось

²¹ Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.

только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на

себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении – это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так, что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, был ли у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не

сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню... Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, – это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, что бы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, – так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину

или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов. Он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопяли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно... стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить, и ночевать в поле; с ними были и удочки, и даже ружье, – мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.

Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце... Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым

пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.

Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение... Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, какво закатывает? – говорил он, улыбаясь. – А ведь лошадики-то, поглядеть, – дрянь! Да ты не боишься ли?» – продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливал-

ся русскою песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слышал, как переменяли лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомившись и огля-

девшись, я увидел, что над нашими головами быстро несло небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? – сказал Евсеич. – Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». – Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти непрерывною, то и креститься перестали... Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признать, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы, и ничтожность, незащитность человеческой природы так явно изобличались и чувствовались мною, что я не мог оставать-

ся спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь, и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весной; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья – солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тиши-

не освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, – говорил Евсеич, – а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! – говорил он, – кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублей, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды: в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.

На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерян-

ного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», — прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно взглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повывродился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечат-

ление; но потом мне уже никогда не случилось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?

Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слышал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка бы-

ла не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно нежданное мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.

Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнью. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услы-

хал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студенческих спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собраний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.

Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить – не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковым! Там были река, огромный пруд, купанье, ужение и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по несколько штук;

я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов! молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых – я и теперь не знаю, потому что он в лет стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастью, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я кара-

улил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже среди дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах деревьев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове,

спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки²². Когда я увидел ее в первый раз, тихо выющую около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (*Hyperanthus*). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темно-сизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя – признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светло-бурые, а задние – желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками.

²² Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (*Liparis Salicis*).

Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища²³. Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, – и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светло-бурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял вверх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле, и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Каван-

²³ Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.

лер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокро, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светло-коричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать²⁴. Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у Подали-

²⁴ Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев, я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».

риуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастья отуманила меня... Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.

Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то

есть Подалириуса и Махаона.

Имея в руках Blumenбаха, Озерецковского и Раффа (двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса – Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга; но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Blumenбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности, подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, желтые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям, вырезаны го-

родками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же – цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синюю же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме уже Махаона. Для меня он даже красивее.

Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окна были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось

там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, куда мы выгоним незваную гостью. Но, взглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать»... – все расхохотались, и мать, зная мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, *огромнейшую и чудеснейшую*, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и при-манивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени

я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине, как о великой редкости, слышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание. «Ночная бабочка Павлин (*Pavonia*) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина²⁵ и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с маленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Испод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледно-пунцового цвета,

²⁵ Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.

которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру²⁶; если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.

Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белой бумагой, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его довести до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночь и не поспать!

Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евге-

²⁶ Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.

ича, который, вызвавшись поддержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется, с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды, и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров, — я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на vacation, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Алек-

сандра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», – и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». – «Ну, так показывайте», – сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» – возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, – сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, – после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» – прибавил он. Но это было несправедливо. Я

стал лучше прежнего раскладывать – это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (*Polichloros*), по Блуменбаху, значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая денная бабочка, которую с грехом пополам мы называли Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темно-синими блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперек черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, *хорошего*, то есть яркого темно-красного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, на-

ходило по белой лунке, или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смородинную Геометру (*Grossulariata*), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнушками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (*Ce 1 egio*); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям²⁷. Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (*Stellatarum*), по необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не мог-

²⁷ Бабочка эта, то есть Сфинкс, *Ce 1 egio*, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.

ли.

Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили номера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались бесспорно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.

Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попались нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки ото-

шли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и бледнее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.

В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.

В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Друг мой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то

же время человек с железной волей – он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже художавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков – пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.

Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только бог терпенья дожить до него и сил – пережить его. При таком

настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории – ничего не знаю.

Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть – иначе я не могу назвать ее – ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обставлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления,

ярко и стройно возникающие впоследствии, – благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.

Москва, Петровский парк, 1858 год, 21 июля

Иван Тургенев

Муму

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолюю и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо в Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и

безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле... Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, – взяли, поставили на вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжелых крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди непо-

движно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его: даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолье. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не сме-

ли драться, а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбаках, – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, – был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по до-

стоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскивали где-то на улице.

– А что, Гаврила, – заговорила она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.

– Да; только кто за него пойдет?

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть полезен; из десятка его не выкинешь.

– Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел что-то возразить, да сжал губы.

– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?

– Слушаю-с, – произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну

и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинкой на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли – вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смиренного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при ви-

де его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробежать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказать, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был

догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалялся с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только расмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирався уже отправиться к ней с просьбой,

не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам необходимо?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и

ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?

– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.

– Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила, – ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатаемые панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

– А что-с?

– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», – подумал он опять про себя.

– Ведь вот ты опять пьян был, – начал Гаврила, – ведь опять? А? ну отвечай же.

– По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, – возразил Капитон.

– По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают – вот что; а в Питере еще был в ученье... Многому ты выучился в ученье. Только хлеб даром ешь.

– В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам господь бог – и больше никто. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства – то и в этом случае виноват не я, а более один товалищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я...

– А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну, да дело не в том, – продолжал дворецкий, – а вот что. Барыне... – тут он помолчал, – барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

– Как не понимать-с.

– Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? Ты согласен?

Капитон осклабился.

– Жениться дело хорошее для человека, Гаврила Андреевич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

– Ну, да, – возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». – Только вот что, – продолжал он вслух, – невесту-то тебе приискали неладную.

– А какую, позвольте полюбопытствовать?..

– Татьяну.

– Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

– Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нра-

ву?

– Какое не по нраву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смиренная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

– Знаю, брат, все знаю, – с досадой прервал его дворецкий, – да ведь...

– Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он меня убьет, ей-богу убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, – хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь все нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, – все же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок.

– Знаю, знаю, не расписывай...

– Господи боже мой! – с жаром продолжал башмачник, – когда же конец? когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В младых летах был я бит через немца хозяина; в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до

чего дослужился...

– Эх ты, мочальная душа, – проговорил Гаврила. – Чего распространяешься, право!

– Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и все я в числе человек, а тут ведь от кого приходится...

– Ну, пошел вон, – нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплелся вон.

– А положим, его бы не было, – крикнул ему вслед дворецкий, – ты-то сам согласен?

– Изъявляю, – возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

– Ну, позовите теперь Татьяну, – промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

– Что прикажете, Гаврила Андреич? – проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

– Ну, – промолвил он, – Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

– Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? – прибавила она с нерешительностью.

– Капитона, башмачника.

– Слушаю-с.

– Он легкомысленный человек – это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

– Слушаю-с.

– Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой...

– Убьет, Гаврила Андреич, беспреренно убьет.

– Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет!

Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

– А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

– Экая! Ведь ты ему так ничего не обещала...

– Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал: «Безответная ты душа!»

– Ну, хорошо, – прибавил он, – мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша: я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, – подумал дворецкий, – я-то из чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что – в полицию знать дадим...»

– Устинья Федоровна! – крикнул он громким голосом своей жене, – поставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи проси-

дел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил... Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньенок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: а что наша свадьба, идет? Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось; она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присут-

ствовал старый буфетчик, по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что на всякий случай, для безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе: но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится – беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц... Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагруженный человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика: дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычаньем закивал головой; потом взгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу... Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза... Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где

заседал совет, толкнул ее прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню, вместе с своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он

все не пропадет; но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слов: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно

откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывая ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь благодаря неусыпным попечениям своего спасителя превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, – он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он

к ней – бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никогда не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду, – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме нее, на дворе старый пес желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, наострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями...

Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно: в один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), – и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидела ее.

– Боже мой! – воскликнула она вдруг, – что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

– Н... н... е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немо-
го.

– Боже мой! – прервала барыня, – да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

– Человек, человек! – закричала она, – приведите поско-
рей Муму! Она в палисаднике.

– А ее Муму зовут, – промолвила барыня, – очень хоро-
шее имя.

– Ах, очень-с! – возразила приживалка. – Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, переверты-
вая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней
вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина; но провор-
ная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертыва-
лась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; нако-
нец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал
ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе.
Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял
ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную
и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом
подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких

великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

– Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, – говорила госпожа, – подойди, глупенькая... не бойся...

– Подойди, подойди, Муму, к барыне, – твердили приживалки, – подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

– Принесите ей что-нибудь поесть, – сказала барыня. – Какая она глупая! к барыне не идет. Чего боится?

– Они не привыкли еще, – произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и все дрожала и озиралась по-прежнему.

– Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.

– Ах! – закричали разом все приживалки, – не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

– Отнести ее вон, – проговорила изменившимся голосом старуха. – Скверная собачонка! какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову», – и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, – а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу все белье перенюхать, – словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, – начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета, – что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? мне спать не дала!

– Собака-с... какая-с... может быть, немного собака-с, – произнес он не совсем твердым голосом.

– Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желая знать. Ведь есть у нас дворная собака?

– Как же-с, есть-с. Волчок-с.

– Ну чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводит. Старшего нет в доме – вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет, – а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

– Чтоб ее сегодня же здесь не было... слышишь?

– Слушаю-с.

– Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полужезвком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не про-

шло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупателя, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор; в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу – туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал ее руками... Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял

чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз: «Муму!» – Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный фореитор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил... Перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости

вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул ее в своих объятьях; она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сеника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрысилось, – и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы лучше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немного воротилась и сидит у него взаперти, но, из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колыш-

ки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил – словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму наострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней забилось и замерло. «Девки, девки! – простонала она. – Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох!» – и она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно братья за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, остальное время все вздыхал да беспрестанно пот-

чевал барыню лавровишневыми каплями, – этот лекарь тотчас прибежал, покурил жжеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную, старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот... вот... опять...» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сторяча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломались в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет и чтобы барыня сделала милость не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо

двенадцати капель налил целых сорок: сила лавровишенья и подействовала – через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

– Любовь Любимовна, – начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдальцей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, – Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, – прибавила она с выражением глубокого чувства, – подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна глядел дядя Хвост и рас-

поряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

– Отвори.

Послышался сдавленный лай; но ответа не было.

– Говорят, отвори! – повторил он.

– Да, Гаврила Андреич, – заметил снизу Степан, – ведь он глухой – не слышит.

Все рассмеялись.

– Как же быть? – возразил сверху Гаврила.

– А у него там дыра в двери, – отвечал Степан, – так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

– Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул

внутри армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврила со двора, – смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка уперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврила. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврила Андреич, – промолвил Степан, – он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это навверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и тряхнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврила, – а караул все-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку, в желтом нанковом казакине, который считался садовником, – что тебе делать? Возьми палку да седи тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный каф-

тан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами, молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому

броду. По дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанные к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажень на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромя, в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой, – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки... Герасим ничего не слышал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого

всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назад к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.

– Ну, да, – заметил Степан, – он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка, – можно ли эдак из-за собаки проклажаться!.. Право!

– Да Герасим был здесь, – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т... у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезающего дня, — с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его пронесли сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи,

которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу – дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст...

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки – и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!», пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец

пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака – на что ему собака? к нему на двор вора бселом не затащить!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

1852

Из «Стихотворений в прозе»

Собака

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воеет страшная, неистовая буря.

Собака сидит передо мною – и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает – но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновение и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь жметя пугливо к другой.

Февраль, 1878

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуя перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса – и удалился, благоговей.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1878

Насекомое

Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.

Между нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень известном предмете – говорим шумно и невнятно.

Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною... влетело, покружилось и село на стену.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта, и лапки – ярко-красные, точно кровавые.

Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате – и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: «Гоните вон это чудовище!», все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало – все невольно сторонились.

Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами стало и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого – не слышал зловещего треска его крыл.

Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, прикинув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул – и упал мертвым.

Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья.

Май, 1878

Голуби

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною – то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило – горячо и тускло; но

там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Все притаилось... все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слышать, не видеть ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий, крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. «Ну скорей же, скорей! – думалось мне, – сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!»

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел все прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений – та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже *два* платка мелькают, *два* комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом *два* белых голубя.

И вот наконец сорвалась буря – и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в ключья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался от-весными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой

зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой...

Но под навесом крыши, на самой краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя – и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба – и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда.

Май, 1879

Дрозд

I

Я лежал на постели, но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих, в ненастный день, по вершинам серых холмов.

Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какую можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнью, осталось... не молодым! нет... но ненужно и напрасно молодежавым.

Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна;

все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность... И роса, целое море росы!

А в этой росе, в саду, над самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал – немолчно, громко, самоуверенно – черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум.

Они дышали вечностью, эти звуки, – всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался – и не кончится никогда.

Он пел, он воспевал, самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередой, блеснет неизменное солнце; в его песне не было ничего *своего*, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, порванной его пением.

И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, го-

ворю тебе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

Она не утешила меня, да я и не искал утешения... Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижимое, мертвое бремя. Ах! и то существо – не так же ли оно молодо и свежо, как твои ликующие звуки, передрагасветный певец!

Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня завтра увлекут меня в безбрежный океан?

Слезы лились... а мой милый черный дрозд продолжал как ни в чем не бывало свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь!

О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее наконец солнце! Но я улыбался по-прежнему.

8 июля 1877

II

Опять я лежу в постели... опять мне не спится. То же летнее раннее утро охватывает меня со всех сторон; и опять под окном моим поет черный дрозд – и в сердце горит та же рана.

Но не приносит мне облегчения песенка птицы, и не думаю я о моей ране. Меня терзают другие, бесчисленные, зи-

яющие раны; из них багровыми потоками льется родная, дорогая кровь, льется бесконечно, бессмысленно, как дождевые воды с высоких крыш на грязь и мерзость улицы.

Тысячи моих братьев, собратов гибнут там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братьев, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями.

Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они о себе не жалеют; не жалеют о них и те неумелые вожди.

Ни правых тут нет, ни виноватых: то молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, с зерном ли – покажет время. Что же значат мои раны? Что значат мои страдания? Я не смею даже плакать. Но голова горит и душа замирает – и я, как преступник, прячу голову в постылые подушки.

Горячие, тяжелые капли пробираются, скользят по моим щекам... скользят мне на губы... Что это? Слезы... или кровь?

Август, 1878

Лев Толстой

Холстомер. История лошади

Посвящается памяти М. А. Стаховича

Глава I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненное становился серп месяца, звучнее – лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фыркание, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

– Но-о! успеешь! проголодались! – сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. – Куда? – крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади несколько не испугались и не оскорбились на-

смешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

– Но-о! – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищуriv глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

– Балуй! – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

– Что вздыхаешь? – сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали

стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пушай наперед матки пройдут» – и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое,

по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, – думал мерин. – Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком,

непрерывно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», – рассуждал мерин и, осторожно ступая по коробленным ногам, шел посередине дороги.

Глава II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» – проговорил Нестер. Мерин же несколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды ме-

рина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принохиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого внимания на то, что выделявали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотложее и просторнее берег и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ногое,

которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого – но менее двух аршин трех вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клочок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое.

Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройтва желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз – большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страш-

ном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереде росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фыркание, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна.

Глава III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извилах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спине, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других,

показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Каракочная холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, – щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще же-

ребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположенье в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все

ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка, и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, – говорило ржанье шалуньи, – а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначашее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но

чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржання и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела закончить своего ржання и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржання и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был со-

всем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но полошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему

уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопровождаемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает, о чем думал старик мерин, унося на своей спи-

не старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадыю, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул

и мерин.

Глава V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

Ночь 1-я

– Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят

охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебедея.

Когда я родился, я не знал, что такое значит пегий, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

– Ишь ты, Баба-то ожеребилась, – сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. – Глянь-ка, Тарас, – крикнул он, – пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

– Вишь, чертенюк, – проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали

мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

– Вишь, какой шустрый, – говорил конюх, – не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться за мой цвет, он даже казался огорченным.

– И в кого такая уродина, – сказал он, – генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня, – обратился он к моей матери. – Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

– И в какого черта он уродился, точно мужик, – продолжал он, – в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, – говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», – повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из раз-

ных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка – Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхоти-ха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком – милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесом и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и

недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок, – и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, – но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами – и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику, по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про кра-

соту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. – Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик opravил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI

Ночь 2-я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

– В августе месяце нас разлучили с матерью, – продолжал пегий, – и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать

моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое, – и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с гляцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадю или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... ..Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменной в моей жизни. Табунщики бросились го-

нять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун,

как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я различал по одной – все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, – но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное – смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцей, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный поворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался

над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми, — теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

— Кабы не этот коростовый, — сказал он, — ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день навевывает.

— Разве отдали ему пегого-то? — спросил другой.

— Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть

всех голодом помори – ничего, а вот как смел его жеребенку корму не дать. Ложись, – говорит, – и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, – но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и

предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодой; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими жен-

щинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей – по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же – делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным меринком, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать

меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, – именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшого, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшого по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное, потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшого.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребенок мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII

Ночь 3-я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посередине двора. Лошади толпились около него.

– Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего, – продолжал пегий, – было то, что то, что составляет главную заслугу нашу, – резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебеда, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздну, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что, померять моего Пегаша?» – крикнул он, и когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться, обходить и обошел. Попытали другой раз – то же самое. Я был резвее. И

это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф – и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в Коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне – труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадей.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII

Ночь 4-я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, пегий продолжал так:

– Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день

возил его к ней и ее, и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами накатник пола. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напояженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животино, забыла!» – и толкнет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол, как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, быва-

ло, серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется, убьет, – нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В двенадцать приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку и гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время – филе. Запряжка была такая, что, когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Все ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка

проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любят все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову, и, не спуская рук, делает чуть заметное, попятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» – как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берегись!» – «Пади берегись!» – покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красав-

ца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я – мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадаются нам на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки.

Ночь 5-я

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю:

– Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. Это было на Масленице, я повез князя на бег. На

бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

– Нет, – говорил он, – то не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа, – расстегнул полость, сел.

– На Стожинку! – Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было пять часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услышал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили – лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась

вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал большим кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирав рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла под-

ле него; остальные – молодежь – переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

– Вот эту я у Воейкова купил – серую в яблоках, – говорил хозяин.

– А эта молодая вороная белоножка чья? – хороша, – говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и оставившая. Заметили и бурую кобылку.

– Это от верховых хреновских осталась у меня порода, – сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

– Вот лучше этой кобылы – я смело могу сказать – нет лошади в России, – сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

– Да, да, – говорил он рассеянно.

– Ты взгляни, – говорил хозяин, не отвечая, – ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

– Хорошо едет? – сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

– Ну что ж, пойдем?

– Пойдем. – Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поест, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

– Вот расписной-то! – сказал он. – Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услышал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт

роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была a la Наполеон III, и мышинные хвостики были напوماжены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и все дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великолепный в своем фраке и белом жилете и галстуке, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым

обоими, не знаящими по-аглицки. В углу, в цветах, стояло фортепьяно incrusté²⁸. От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью. Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и

²⁸ С инкрустацией (франц.).

возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

– Что, вам ничего сигары, Мари? – сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном – вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, сдержанками, в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он, скорее, хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами.

Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился, как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

– Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

– Спасибо. – Он достал сигарочницу. – Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

– Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой, доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

– Нет, ты возьми эту, – продолжал нечуткий хозяин. – Другие, те послабее. Фриц, bringen Sie noch *eine* Kasten, – сказал он, – dort zwei²⁹.

²⁹ Принесите еще *один* ящик, там два (*нем.*).

Немец-лакей принес другой ящик.

– Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши.

Ты возьми все, – продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

– Так во сколько тебе пришелся Атласный? – сказал он.

– Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

– Едут? – спросил Серпуховской.

– Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороным. Каналья наездник сбил четыре сбоя, а то бы за флагом оставил.

– Сыр он немного. Голландщины много, вот что я тебе скажу, – сказал Серпуховской.

– Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласковую – две тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

– Будете еще чай пить? – спросила она.

– Не буду, – сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры – лицо Никиты вдруг измени-

лось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

– Да, ты говорил, у Воейкова купил, – сказал Серпуховской, как будто небрежно.

– Да – Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

– Он прогорел, – сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» – думал Серпуховской. «Непременно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», – думал хозяин.

– Так как же ты долго здесь пробудешь? – сказал Серпуховской.

– Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, гото-

во?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской покраснелся и стал говорить, не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

– Ну что ж, ты оставил Матье? – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

– Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублей, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя – хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя – про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

– Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... – начал было он. Но Серпуховской перебил его.

– Было время, могу сказать, – начал он, – что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

– Да, да, – сказал он. – Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать; это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу – пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

– Да, я слышал, – неохотно сказал хозяин, – но я хотел тебе сказать про своих...

– Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты, молодость! – пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. – Эх, хорошее было время. Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, все удается; и все кончилось.

– Ну, тогда не было той резвости, – сказал хозяин, пользуясь перерывом. – Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

– Твои лошади! Да тогда резвее были.

– Как резвее?

– Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я. – Серпуховской, когда, – говорят, – ты заведешь рысистых? – Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчичий пегий всех ваших обежит. – Да вот не обегают. – Пари тысяча рублей. – Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, тысячу рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

– Спать – так спать, – сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

– Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

– И за мной ухаживает.

– Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, – подумал он. – Ну все равно.

Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, – сказал он сам себе и захохотал. – То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит – я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь».

– Эй! Эй! – крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой – бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадыю. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется», – думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

– Короста. Позвольте цыганам продать.

– Зачем? Зарежьте, только чтобы нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою

о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят, – подумал он. – Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову – никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

– Тоже лошадь была, – сказал Васька.

– Кабы посытее, хороша бы кожа была, – сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка останови-

лась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линиявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчат. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним

затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землю.

Николай Лесков

Зверь. Святочный рассказ

*И звери внимаху святое слово.
Житие старца Серафима³⁰*

Глава 1

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я – маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, – мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые.

Отец мой находился об эту пору по служебным обязан-

³⁰ Серафим Саровский (1759–1833) – монах Саровской пустыни, долгое время жил в полном одиночестве в лесном скиту и, по преданиям, понимал язык зверей.

ностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава 2

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башней, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку.

Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробежал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочислен-

ных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость.

Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения.

Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава 3

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте.

Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставившиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти.

Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навывкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Ан-

нушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленным и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратьев, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такую привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть по-

ка они вели себя смиренно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Глава 4

Отбирать «смышленного медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель».

Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по *бревну*) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подростлыми щенками медвежьих собак).

Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером, и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноградных ждали бы смертоносные наказания.

Глава 5

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи, или медвежьей казни, не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, *матерым* медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною

и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем.

Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоуценки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – *на казнь...*

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в

то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

– Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзьями.

Глава 6

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог.

Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

Глава 7

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или твоило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрывку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти.

Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слышать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

– Слава богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Глава 8

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», – а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка.

Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тя-

жело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни взразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь – тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие

может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кровати на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Глава 9

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую ло-

шадь, по имени Щеголиха.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и, как только он сел на седло, покрытое черною медвежьей шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое

нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

Глава 10

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нему, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из

нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голо-

ву бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на «три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но... медведь опять-таки не показывался.

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад...

Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы

Храпошку спустили в яму и чтобы он *сам вывел* оттуда своего друга на травлю...

Глава 11

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно, нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму...

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало

в себе новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя кверху крепко завязанной концом наруже веревки. Но Ферапонт выходил не *один*: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в аванжном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которую Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку...

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть.

Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Глава 12

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышленного, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенные из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впиалась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал это-

го и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие, как кувырнулись, так и вытянулись.

Глава 13

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизон-

тальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, Бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для охранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка.

Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных и секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве фителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их голова-

ми, а за ними гонится расшвырянувший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное...

Глава 14

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая

живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки...

Сганарель его моментально узнал,дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крикнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навывлет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкой были слишком тесно скручены...

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее – *Сганарель ушел*. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

Глава 15

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе, и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях.

Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажи-

гали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услышал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и с таким же шепотом сказал:

– Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

Глава 16

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкой, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина

свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника. Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разуме-ли. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситея», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил *о даре*, который и нынче, как и «во время оно», всякий

бедняк может поднести к яслям «рожденного Отроча», смелее и достойнее, чем поднесли золото, смиру и ливан волхвы древности³¹. Дар наш – наше сердце, исправленное по *Его* учению³². Старик говорил о любви, о прощении, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...

Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки... Но вот он уронил ее, и... ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он *плакал!* Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

– Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер.

³¹ Евангелие от Матфея 2:1—11

³² Евангелие от Луки 8:15

Храпошка подошел и упал на колени.

– Встань... поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю. Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.

– Что?

– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.

– Чего же ты хочешь?

– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христова, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

– У нас ноне так случилось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано бы-

ло, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сию пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: *«укротитель зверя»*.

1883

Константин Ушинский

Гадюка

Вокруг нашего хутора, по оврагам и мокрым местам, водилось немало змей. Я не говорю об ужах: к безвредному ужу у нас так привыкли, что и змеей-то его не зовут. У него есть во рту небольшие острые зубы, он ловит мышей и даже птичек и, пожалуй, может прокусить кожу; но нет яду в этих зубах, и укушение ужа совершенно безвредно.

Ужей у нас было множество; особенно в кучах соломы, что лежала около гумна: как пригреет солнышко, так они и выползут оттуда; шипят, когда подойдешь, язык или жало показывают, но ведь не жалом змеи кусают. Даже в кухне под полом водились ужи, и как станут, бывало, дети, сидя на полу, молоко хлебать, так уж и выползает и к чашке голову тянет, а дети его ложкой по лбу.

Но водились у нас и не одни ужи: водилась и ядовитая змея, черная, большая, без тех желтых полосок, что видны у ужа около головы. Такую змею зовут у нас гадюкой. Гадюка нередко кусала скот, и если не успеют, бывало, позвать с села старого деда Охрима, который знал какое-то лекарство против укушения ядовитых змей, то скотина непременно падет – раздует ее, бедную, как гору.

Один мальчик у нас так и умер от гадюки. Укусила она его около самого плеча, и, прежде чем пришел Охрим, опухоль перешла с руки на шею и грудь: дитя стало бредить, метаться и через два дня померло. Я в детстве много наслушался про гадюк и боялся их страшно, как будто чувствовал, что мне придется встретиться с опасной гадиной.

Косили у нас за садом, в сухой балке, где весной всякий год бежит ручей, а летом только сыровато и растет высокая густая трава. Всякая косовица была для меня праздником, особенно как сгребут сено в копны. Тут, бывало, и станешь бегать по сенокосу и со всего размаху кидаться в копны и барахтаться в душистом сене, пока не прогонят бабы, чтобы не разбивал копен. Вот так-то и в этот раз бегал я и кувыркался: баб не было, косари пошли далеко, и только наша черная большая собака Бровко лежала на копне и грызла кость.

Кувыркнулся я в одну копну, повернулся в ней раза два и вдруг вскочил с ужасом. Что-то холодное и скользкое махнуло меня по руке. Мысль о гадюке мелькнула в голове моей – и что же? Огромная гадюка, которую я обеспокоил, вылезла из сена и, подымаясь на хвост, готова была на меня кинуться.

Вместо того чтобы бежать, я стою как окаменелый, будто гадина зачаровала меня своими безвековыми, неморгающими глазами. Еще бы минута – и я погиб; но Бровко, как стрела, слетел с копны, кинулся на змею, и завязалась между ними смертельная борьба.

Собака рвала змею зубами, топтала лапами; змея кусала

собаку и в морду, и в грудь, и в живот. Но через минуту только клочки гадюки лежали на земле, а Бровко кинулся бежать и исчез.

Тут только воротился ко мне голос; я стал кричать и плакать; прибежали косари и косами добили еще трепещущие куски змеи.

Но страннее всего, что Бровко с этого дня пропал и скитался неизвестно где.

Только через две недели воротился он домой: худой, тощий, но здоровый. Отец говорил мне, что собаки знают траву, которой они лечатся от укуса гадюки.

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, – вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные пев-

цы улетели, не дожидаясь холода.

– И куда эта мелочь торопится! – ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. – В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

– Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, – объяснила его жена, старая Утка.

– Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась.

– Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, – любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

– Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь – глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило – не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда

умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

– Какой ты отец? – накинулась она на мужа. – Отцы заботятся о детях, а тебе – хоть трава не расти!..

– Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

– Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, – повторяла Утка со слезами. – Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

– А другие дети?

– Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, – жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского

горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, – ведь все равно она должна погибнуть зимой.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

– Ведь вы весной вернетесь? – спрашивала Серая Шейка у матери.

– Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

– Как-нибудь, милая, пробыешь, – успокаивала старая Утка. – Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, – совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

– Я буду все время думать о вас... – повторяла бедная Серая Шейка. – Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, – береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дальше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю. «Как им, должно быть, хорошо», – думала Серая Шейка. Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету.

Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

– Нужно отправляться... пора! – говорили старики вожаки. – Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, – это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

– Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, – советовала она. – Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала

про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

– Ну, трогай! – громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетающий косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? – думала Серая Шейка, заливаясь слезами. – Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» – думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где пошвыстывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки

Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

– Ах, как ты меня напугала, глупая! – проговорил Заяц, немного успокоившись. – Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

– Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой...

– Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

– Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, – говорил он. – А я постоянно дрожу со страху... У меня – кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзло по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий

месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, – это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

– А, старая знакомая, здравствуй! – ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. – Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

– Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, – ответила Серая Шейка.

– Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделяют что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока – до свидания!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

– Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались

еще важнее. Они стояли, засыпанные снегом, как будто надели дорожную теплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

– Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

– Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день – проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

– Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

– Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

– Братцы, берегитесь! – крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет», – соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

– Ах, лукавцы! – рассердился старичок. – Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, старик, без шубы не при-

ходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

– Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! – думал он вслух. – Ну вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, – так и ползет, точно кошка.

– Ге, ге, вот так штука! – обрадовался старичок. – К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить...

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испортить, – соображал старик, прицеливаясь в Лису. – А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, – и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками, – воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая

Шейка.

– Вот так штука! – ахнул старичок, разводя руками. – В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь.

– Дедушка, Лиса убежала, – объяснила Серая Шейка.

– Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

– А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

– Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут, или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

– А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утятков выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, – соображал он, направляясь домой. – Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

Антон Чехов

Белолобый

1

Голодная волчица встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже

далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одной падалью, свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее лóговища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей слышалось, будто в хлеву блéяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее шелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены

высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стене, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почувывая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

2

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пах-

ло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое,

очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращающуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую, ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрощеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип, видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:

– Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту.

Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, и они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть с добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлую ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» – решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно,

и она отошла прочь...

3

К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушел домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, залихватый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих

овец, залаял еще громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парак!

Он спустил курок – ружье дало осечку; он спустил еще раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и огромный огненный снап вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум... Немного погодя вернулся он в избу.

– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

– Ничего... – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

– Глупый.

– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, божий человек, рано вставать, давай спать полным ходом...

А утром он позвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал:

– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

Каштанка

(Рассказ)

Глава 1 Дурное поведение

Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

– Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жи-

ли ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

– Чтоб... ты... из...дох... ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем – в гиене огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

– Ты, Каштанка, насекомое существо, и больше ничего. Супротив человека ты все равно что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загре-

мела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завывала. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завывала и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоня ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на

заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожуцу – вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Глава 2

Таинственный незнакомец

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратиться на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйт!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала

неразжеванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он дает много есть и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

– Эй ты, пес, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы слышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладе-

ла грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табак... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу...

Глава 3

Новое, очень приятное знакомство

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

– Рррр... – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завильяла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадьё. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него,

на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

– Это что такое? – послышался громкий, сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. – Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:

– Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

– Иван Иванович, на место!

Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты,

рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

– Вот что... Ты будешь – Тетка... Понимаешь? Тетка!

И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью... Послушав его и ответив ему: «рррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.

Глава 4

Чудеса в решете

Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П

висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

– Иван Иванович, пожалуйста!

Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.

– Ну-с, – сказал незнакомец, – начнем с самого начала.

Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

– Так, молодец... Теперь умри!

Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Прделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал:

– Караул! Пожар! Горим!

Иван Иванович подбежал к П, взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

– Молодец, Иван Иванович! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень

понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

– Тетка, на место! – крикнул ей незнакомец. – Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

– Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, выпустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пяточок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пяточком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов – бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

– Федор Тимофеич, пожалуйста!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье.

– Ну-с, начнем с египетской пирамиды, – начал хозяин.

Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз... два... три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи... Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеи-

ча и гуся.

Глава 5

Талант! Талант!

Прошел месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к Тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливую болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»...

Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не

интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыр-кал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире; гусь же не имел права переступить порог комнаты с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при

появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленно-го пса, однажды перед уčenьем хозяин погладил ее и сказал:

– Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать... Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

– Талант! Талант! – говорил он. – Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.

Глава 6

Беспокойная ночь

Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.

В комнатке было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки – такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убе-

дительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувствовала еще больший страх и проворчала:

– Ррррр...

Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с ключьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но, как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

– К-ге! К-ге-ге! – крикнул Иван Иваныч.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван

Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

– Иван Иваныч, что с тобой? – спросил хозяин у гуся. – Что ты кричишь! Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

– Ты чужак. И сам не спишь, и другим не даешь.

Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стук ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Все было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый

раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеевич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завывала тихо и на разные голоса.

– К-ге! – крикнул Иван Иванович. – К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

– Иван Иванович! – позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

– Иван Иванович! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! – вскрикнул он и схватил себя за голову. – Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!

Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завывала.

– Он умирает, Тетка! – сказал хозяин и всплеснул руками. – Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

– Боже мой, что же делать?

Тетка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из ручкомойника воды и опять пошел к гусю.

– Пей, Иван Иваныч! – сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. – Пей, голубчик.

Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.

– Нет, ничего уже нельзя сделать! – вздохнул хозяин. – Все кончено. Пропал Иван Иваныч!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

– Бедный Иван Иваныч! – говорил хозяин, печально вздыхая. – А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рассветло, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

– Ску-ску-ску...

Глава 7

Неудачный дебют

В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

– Ну-с...

Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сер-

дит. Немного погодя он вернулся и сказал:

– Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамымся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой...

– Тетка, пойдем, – сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

– Осрамымся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу, где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искор-

ки – это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядели страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими из рта.

Кот сишло замяукал под лапами Тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться... Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором

и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки...

У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, – все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее – это невозмутимость Федора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и

не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

– Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее – вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как дрожало его дыхание.

– М-р Жорж, пожалуйста! – крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табулета кота и сунул его в чемодан.

– Иди, Тетка! – сказал он тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеичем. Засим наступили потемки... Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал...

– А вот и я! – громко крикнул хозяин. – А вот и я!

Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

– Га! – крикнул он, стараясь перекрыть рев. – Почтен-

нейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое – очевидно, золото... Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим...

В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

– Га! – закричал хозяин. – Дядюшка Федор Тимофеич! Дорогая Тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

– Тетушка, прошу вас сесть! – крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тетка поверила его веселости,

вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завывала.

– Вы, Тетушка, посидите, – сказал ей хозяин, – а мы с дядюшкой попляшем камаринского.

Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя... Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

– Ну-с, Тетушка, – сказал хозяин, – сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завывала. Со всех сторон слышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть... Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

– Тятка! – крикнул детский голос. – А ведь это Каштанка!

– Каштанка и есть! – подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. – Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюить!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один – детский, другой – мужской, громко позвали:

– Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое – пухлое, краснощекое и испуганное – ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет... Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

– Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и наконец попала на галерку...

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

– В бездне греховней валяюся во утробе моей... – бормотал он. – А ты, Каштанка, – недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагала Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась

ни на минуту.

Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон...

1887

Александр Куприн

Собачье счастье

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в ее лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом.

Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрестка. Тогда Джек решил ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собой сильную струю отвратительных китайских

духов. Джек досадливо махнул головой и чихнул, – Аннушкин след был окончательно потерян.

Однако пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать до колбасной, от колбасной – до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом, – и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истертый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлебываясь.

«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для мо-

ей чести или для чести всех порядочных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги, – подумал Джек. – Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит, болван, боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».

И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека наружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный

наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом. . . Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапах, туловищу крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все вре-

мя он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

– Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

– Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне.

– Как!.. Позвольте... виноват... я не расслышал, – пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги. – Вы изволили сказать: в жи...

– Да, в живодерне, – подтвердил так же холодно пудель и отвернулся.

– Извините... Но я вас не совсем точно понял... Живо-

дерня... Что же это за учреждение – живодерня? Не будете ли вы так добры объяснить?

Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.

– Это, видите ли, *mesdames*, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.

– Эка невидаль! – послышался хриплый голос из темного угла. – Я в седьмой раз туда еду.

Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один Бутон, движимый лакейским усердием выскочки, закричал:

– Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают!

И тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу.

– Я там бывал три раза, – продолжал пудель, – но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке и, вы понимаете, мною дорожат)... Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак...

– Скажите, а бывает там порядочное общество? – жеманно

спросила левретка.

– Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из...

Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:

– ...из собачьего мяса.

При последних словах компания пришла в ужас и негодование.

– Черт возьми! Какая низкая подлость! – воскликнул Джек.

– Я сейчас упаду в обморок... мне дурно, – прошептала левретка.

– Это ужасно... ужасно! – простонала такса.

– Я всегда говорил, что люди подлецы! – проворчал мышастый дог.

– Какая страшная смерть! – вздохнул Бутон.

И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой:

– Однако этот суп ничего... недурен... хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.

Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:

– Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что

шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но, – приготовьте ваши нервы, mesdames, – но этого мало. Для того чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки.

Отчаянные крики прервали слова пуделя:

– Какое бесчеловечие!..

– Какая низость!

– Но это же невероятно!

– О боже мой, боже мой!

– Палачи!..

– Нет, хуже палачей!..

После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи.

– Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? – крикнул запальчиво Джек.

– Будьте добры, укажите это средство, – сказал с иронией старый пудель.

Собаки задумались.

– Перекусать всех людей, и баста! – брякнул дог озлобленным басом.

– Вот именно-с, это самая радикальная мысль, – поддержал подобострастно Бутон. – По крайности будут бояться.

– Так-с... перекусать... прекрасно-с, – возразил старый пудель. – А какого вы мнения, милостивый государь, отно-

сительно арапников? Вы изволили быть с ними знакомы?

– Гм... – откашлялся дог.

– Гм... – повторил Бутон.

– Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь... Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник, – вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестные?.. Предположим, что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться... Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все-с. Таков закон природы-с.

– Ну, развел философию, – сказала такса на ухо Джеку. – Терпеть не могу стариков с их поучениями.

– Совершенно справедливо, mademoiselle, – галантно махнул хвостом Джек.

Мышастый дог с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом:

– Эх, жизнь собачья!..

– Но где же здесь справедливость, – заволновалась вдруг молчаливая до сих пор левретка. – Вот хоть вы, господин пудель... извините, не имею чести знать имени...

– Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам, – поклонился пудель.

– Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености: скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями...

– Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильнее и умней, – возразил с горечью Арто. – О! мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных... Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?

– Уделит, непременно уделит, – согласились слушатели.

– Гм! – крикнул дог с сомнением.

– Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда – это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.

– Действительно так, – подтвердили слушатели.

– Скажите еще, – продолжал белый пудель, – разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устройении

собачьего счастья? А люди это делают!

– Черт побери! – вставил энергично мышастый дог.

– В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки... И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что так уж устроено. Освободиться от их владычества невозможно... Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу.

Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.

Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.

Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из нее, повинувшись инстинкту, сбились в кучу.

– Эй, послушайте, как вас там... эй вы, профессор... – услышал пудель сзади себя чей-то голос.

Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес.

– Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое, – огрызнулся старый пудель. – Не до вас мне.

– Нет, я только одно замечаньице... Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали... Да-с.

– Да отвяжитесь от меня, черт возьми! Какую там еще ошибочку?

– А насчет собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?

И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понесся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот.

«Лови его! Держи!» – закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.

Но фиолетовый пес был уже около забора. Одним толчком отпрыгнув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.

Старый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.

Барбос и Жулька

Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нем замечалось отдаленное сходство с белым пуделем, но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал унизан колючими «репьями», осенью же клоки шерсти на его ногах, животе, извалявшись в грязи и потом высохнув, превращались в сотни коричневых, болтающихся сталактитов. Уши Барбоса вечно носили на себе следы «боевых схваток», а в особенно горячие периоды собачьего флирта прямо-таки превращались в причудливые фестоны. Таких собак, как он, искони и всюду зовут Барбосами. Изредка только, да и то в виде исключения, их называют Дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом.

Жулька также принадлежала к очень распространенной породе маленьких собак, тех тонконогих собачек с гладкой черной шерстью и желтыми подпалинами над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой ее характера была деликатная, почти застенчивая вежливость. Это не значит, чтобы она тотчас же перевертывалась на спину, начинала улыбаться или униженно полза-

ла на животе, как только с ней заговаривал человек (так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки). Нет, к доброму человеку она подходила с свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапами и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность ее выражалась главным образом в манере есть. Она никогда не попрошайничала, наоборот, ее всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жюлька скромно отходила в сторону с таким видом, который как будто бы говорил: «Кушайте, кушайте, пожалуйста... Я уже совершенно сыта...» Право же, в ней в эти моменты было гораздо меньше собачьего, чем в иных почтенных человеческих лицах во время хорошего обеда.

Конечно, Жюлька единогласно признавалась комнатной собачкой. Что касается до Барбоса, то нам, детям, очень часто приходилось его отстаивать от справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел весьма смутные понятия о праве собственности (особенно если дело касалось съестных припасов), а во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило стрескать в один присест добрую половину жареного пасхального индюка, воспитанного с особенной любовью и откормленного одними орехами, или улечься, только что выскочив из глубокой и грязной лужи, на праздничное, белое как снег покрывало маминой кровати.

Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал: это замечалось по его бровям, все время не перестававшим двигаться. Барбос ждал... Едва только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура, Барбос стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и полным карьером несся на дерзкого нарушителя территориальных законов. Он твердо памятовал великий закон всех единоборств и сражений: бей первый, если не хочешь быть битым, и поэтому наотрез отказывался от всяких принятых в собачьем мире дипломатических приемов, вроде предварительного взаимного обнюхивания, угрожающего рычания, завивания хвоста кольцом и так далее. Барбос, как молния, настигал соперника, грудью сшибал его с ног и начинал грызню. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком, два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал победу. В то время, когда его враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад, Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконник. Правда, иногда при этом триумфальном шествии он сильно прихрамывал, и уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем слаще казались ему победные лавры.

Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие и са-

мая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйный нрав и дурные манеры, но, во всяком случае, явно она никогда этого не высказывала. Она даже и тогда сдерживала свое неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно сердитым рычанием делали вид, что ожесточенно грызутся между собой.

Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел ее с своего подоконника, но, вместо того, чтобы, по обыкновению, кинуться в бой, он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя одним своим видом панический ужас и на людей и на животных. Люди попрятались за двери и боязливо выглядывали из-за них. Все кричали, распоряжались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешеная собака тем временем уже успела искусать двух свиней и разорвать несколько уток.

Вдруг все ахнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и во всю прыть своих тоненьких ножек понеслась наперерез бешеной собаке. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой. Потом они столкнулись... Это все произошло так

быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернулась к воротам и выскочила на улицу.

Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела ее даже укусить. Но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульке... С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости: то лежала по целым часам в каком-нибудь темном углу, то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Она отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда ее звали по имени.

На третий день она так ослабела, что не могла приподняться с земли. Глаза ее, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию отца ее отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. (Ведь известно, что только человек обставляет так торжественно свою смерть. Но все животные, чувствуя приближение этого омерзительного акта, ищут уединения.)

Через час после того как Жульку заперли, к сараю прибежал Барбос. Он был сильно взволнован и принялся сначала визжать, а потом выть, поднимая кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным ви-

дом и настороженными ушами щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл.

Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили веревкой; он убегал, но тотчас же упорно возвращался на свое место и продолжал выть.

Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос.

– Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа, – пристали мы к отцу.

Он сначала сказал: «Глупости!» Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить.

И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле, обнюхал ее и с тихим визгом стал лизать ее в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову – ей это не удалось. В прощании собак было что-то трогательное. Даже прислуга, глазевшая на эту сцену, казалась тронутой.

Когда Барбоса позвали, он повиновался и, выйдя из сарая, лег около дверей на земле. Он уже больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае. Часа через два он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала

неподвижно на боку. Она издохла...

1897

Белый пудель

1

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, стриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плелся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починков. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лауне-

ра³³ и галоп из «Путешествия в Китай»³⁴ – обе бывшие в моде лет тридцать-сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам признавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Что поделаешь?.. Древний орган... простудный... Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу»³⁵ подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орган к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник...» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст, и еще покормит.

³³ Лаунер Иозеф Франс Карл (1801–1843) – австрийский композитор.

³⁴ «Путешествие в Китай» – опера в 3 действиях, перевод Н. Куликова.

³⁵ «Гейша» – оперетта австрийского композитора Карла Целлера (1842–1898).

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий: точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

– Что́, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник скоро умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою, и мелкими житейскими интересами.

2

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извинаясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди

серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизилия и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

– Ты что, Сережа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпения! Искупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купания еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом, здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от

жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что, брат песик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки... Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться... А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно-белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканые виноградом,

свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы, – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посреди-не. – Дедушка, а персики! Она сколько! На одном дереве!

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь, глядемши... Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами... Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.

– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

– Страшные поди... эфиопы-то эти?

– Как тебе сказать? С непривычки оно точно... опасаться немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее. Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарница. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислу-

га заявляла, что «господа еще не приехавши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек... Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов моих ради... Эх, не понимают этого господя! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно... ну и велют идти прочь. А лучше дай хошь три копейки... Я ведь не обижаюсь, я ничего... зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дальше тянулось время, тем более разрастались у арти-

стов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а... Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать... А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По ле-

вую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача Дружба», посторонним вход строго воспрещается, – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и

без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесучевой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте... Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться...

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговари-

вал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет, и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..

– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак, драть его будут?

– Ну вот, драть... Такой сам всякого посекает. Просто –

блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедчий? – догадался Сергей.

– А я почему знаю. Тише!..

– Ай-ай-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто вам позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, дозвольте вам объяснить... – начал

было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а!

Да-а-й! Позвать! Мне!

– Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Пст!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – завораживай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Жи-

во!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегаая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарман-

ки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истошив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почему знать, может быть, умный пудель хотел этим лаем сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыж-

кин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так... – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись... Еще, еще... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.

– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, языкто высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль... Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тон-

ким юмором называл «цилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у...

– Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например борной кислотой

или слабым раствором карболки, то-о... вообще...

– Соба-а-аку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой, и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе... еще, вам говорят!.. Вот так... Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребенка... Доктор, прошу вас... Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше превосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо... Чай, сами старичка не обидите...

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть... простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый... Сразу-то мне не понять... к тому же и глуховат малость... то есть как это вы изволите говорить?... За собаку?..

– Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик. Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Истукан... Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу... Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только... – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливо оставаться... Сергей, иди вперед!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, каналы!

– Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубаше со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествоваемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодарю еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денек сегодня задался. Удивительно!

– На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного на-

зад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженьях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбацких лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособию орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».

– Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем

окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдававшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, парходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил

его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

4

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

– О-го-го!.. Подождите трошки!..

– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки.

– Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись... И что это за люди, прости господи!..

– Вы вот что... – начал запыхавшийся дворник еще изда-

ли. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычем. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку...» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне – двоюродное наплевать. И пожалуйста... я тебя прошу... уйди ты от нас, Христа ради... и того... и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак-человек...

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой...

Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

– Бреши дальше... Я потом сразу тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды... Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу...

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот... тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил-человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем,

друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке даром колбасу не стравляй... сам лучше скушай... этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... То за сколько бы ты его примерно продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовью вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестящей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неравные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

– Во имя Отца и Сына. Очи всех на Тя, Господи, упова-

ют, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Чтб, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попою. Ух, хорошо! – крикнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду пил... с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело

чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные... В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... все электричество горит... Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше... почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слышал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубашке, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто... куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сирым со сна, старческим фальцетом: – Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик.

Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим

голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

– Ну, что там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел?

– Сережа... что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недо-еденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направле-ниях отпечатались следы собачьих лап.

– Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал де-душка, все еще сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное... Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой при-кармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза бабушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что́ же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

– Что́ делать, что́ делать! – сердито передразнил его Сер-гей. – Вставай, бабушка Лодыжкин, пойдем!..

– Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как

на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано, всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.

– К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому... – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому... да... Только вот что, Сереженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Сережа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасуюсь. Слышал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения... Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасуюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, под-

вернулся один грек. «Это, говорит, сушие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко... Собака-то уж хороша очень...

– Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «По-давай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один бог его ведает. Почем я знаю, может, ворюшка какой или беглый каторжник? Или, может, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Сережа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал поднимать.

– Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная... Артошенька-то наш... Другой такой не будет у нас...

– Ладно, ладно... Вставай, – распорядился Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его

сердце.

– Будет тебе, пойдём, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

6

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал. Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «Звезда». Вместе с ними ночевали греки-каменотесы, землекопы-турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

– Ты куда носью ходишь, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую, с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем

однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилося. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали ее блески, – и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеб-

лями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чашу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

– А все-таки я поеду. Все равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью влез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу ступать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружи, и по мере того, как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обесилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось,

что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубашке, подыметесь крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и

нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.

– Только не в доме... в доме ее не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест...

Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых, маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий,

сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас затих.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик.

– Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.

– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычащий какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький, обезумевший от ужаса зве-

рек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им постепенно стала овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выгляну-

ла большая темная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, – оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и

сладким запахом освеженного листа.

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:

– И сто ти се сляесься, мальцук? Сто ти сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

1903

Слон

1

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою еще двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор – высокий, седой, в золотых очках – рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

– Главное – не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы.

– Ах, доктор, но она ничего не хочет!

– Ну, не знаю... вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства...

– Нет, нет, доктор, она ничего не хочет...

– Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь... Ну, хоть чем-нибудь... Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить, – то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем... До свидания, сударыня!

2

– Милая Надя, милая моя девочка, – говорит мама, – не хочется ли тебе чего-нибудь?

– Нет, мама, ничего не хочется.

– Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

– Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

– Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

– Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

– Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно, и ничего ей не нужно. Так лежит

она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бежит из угла в угол и все... курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

3

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

– Тебе что-нибудь нужно? – спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом, точно по секрету:

– Мама... а можно мне... слона? Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

– Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головой и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка, и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

– Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мертвый.

– Ты погляди только, Надя, – говорит папа. – Мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

– Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повез...

– Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

– Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого... Хоть слоненюшка.

– Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

– Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

– Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватается себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достается от мамы) и кричит горничной:

– Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит жена.

– Ты куда, Саша? – спрашивает она.

Он тяжело дышит, застегивая пуговицы пальто.

– Я сам, Машенька, не знаю куда... только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

– Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

– Я совсем не спал, – отвечает он сердито. – Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? Покамест нет еще. До свиданья! Вечером все будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

4

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки – одни в красных юбках, другие в синих штанишках – ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленьких, карлики, но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую

черную сигару.

– Извините, пожалуйста, – говорит Надин отец. – Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет ее опять в рот и только тогда произносит:

– Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чем дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кровати, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничто не нравится; велят исполнять все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

– Ну вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси бог... вдруг ее болезнь окончится плохо... вдруг девочка умрет?... Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

– Гм... А сколько вашей девочке лет?

– Шесть.

– Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днем нельзя. Соберется публикум, и сделается один скандал... Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возместить убыток.

– О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...

– Потом: позволит ли полиция водить один слон в один дом?

– Я это устрою. Позволит.

– Еще один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

– Позволит. Я сам хозяин этого дома.

– Ага! Это еще лучше. И потом еще один вопрос: в каком этаже вы живете?

– Во втором.

– Гм... Это уже не так хорошо... Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршина. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

– Знаете ли что? – говорит он. – Поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

– Очень хорошо! – соглашается хозяин зверинца.

5

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на нее внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идет среди толпы и уговаривает ее:

– Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

– Надо дать ему какое-нибудь лакомство... – говорит немец. – Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми!.. Ого-го!.. Томми!

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

6

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

– А что же слон? Он пришел?

– Пришел, – отвечает мама, – но только он велел, чтобы

Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

– А он добрый?

– Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему.

– А он смешной?

– Немножко. Надень теплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот – точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы он им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

– Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми

очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

– Здравствуйте, как вы поживаете? – отвечает она. – Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

– Томми.

– Здравствуйте, Томми, – произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты». – Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

– Ведь он все понимает? – спрашивает девочка немца.

– О, решительно все, барышня!

– Но только он не говорит?

– Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

– А вы, Томми, уже пили чай? – спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется.

Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

– Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то вниз под голову, где у него движется смешная треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми продельывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

– Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла – это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа – Сониная дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это – Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгнать из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда, немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

– Это лошадь, это канарейка, это ружье... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

– Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон – разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону – теплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое – девочка чашку какао, а слон

половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

– Не бойтесь, он добрый! – успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми и у них много детей, маленьких, веселых слонят. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

– Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

– А слон?

Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

– Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

1907

Еж

Учитель латинского языка, Иероним Вассианович Предтеченский, расстался на летние каникулы со столицей и после долгих и беспокойных разговоров с тещей, женой и взрослой дочерью переехал на все лето из небольшой квартиры на Петербургской стороне в самый отдаленный уголок дачной местности, поселка Сырицы...

Теперь в его распоряжении, первый раз в жизни, была скромная дачка со стеклянным балконом, четырьмя грядками, на которых должны быть посажены: редиска, морковь, укроп и прочие овощи, два горшка роз, взятые с собой из города, и неожиданно откуда-то взявшаяся шершавая собачонка, тотчас же названная «Верным».

На балконе, под какой-то фотографией, висел старый, поржавевший барометр. Иероним Вассианович каждое утро подходил к нему и стучал по стеклу пальцем, желая узнать, какая будет погода к вечеру.

Барометр упорно показывал ясную погоду, хотя все время шел самый настойчивый дождь.

Заодно с барометром была и зеленая лягушка, сидевшая в банке из-под вишневого варенья с лестничкой.

Учитель утверждал, что лягушка больна, ибо она вот уже несколько недель не сходила с лесенки, настаивая на ясных, теплых днях.

Не помогали даже ревматизмы старой няньки, хотя это и было одним из самых верных средств узнать погоду.

После внимательного осмотра лягушка оказалась оловянной, выкрашенной медной ярью, ибо ее купили на Александровском рынке прошлогодние жильцы и за ненадобностью бросили на даче, когда съезжали.

Учитель Предтеченский вовсе не ожидал, что его впереди ждут крупные неприятности.

Овощи, им посаженные, не взошли, цветочная рассада, купленная у разносчика, пожелкла и печально опустилась вниз. Дети, которые, может быть, впервые видели зелень и солнце и бегали босиком по росистой утренней траве, – вконец испортились.

Это было еще ничего, что они обливали чужие заборы и что они разбили в соседнем доме все оконные стекла при помощи деревянной рогатки, тугой резинки и камешков... Ужаснее всего было то, что они однажды принесли в дом живого ежа.

Пришел какой-то таинственный человек лет девятнадцати, с основательно разбитым левым глазом и щекой, завязанной косынкой, и сказал:

– Я главный поставщик ежев! У меня есть редкий еж. Особенной золотистой масти, которая называется «императорской». Лошади такой масти называются «изабелла»!

Конечно, мальчишки были несказанно обрадованы этим предложением...

Учитель вышел на крыльцо торговаться с продавцом ежей.

– Я дал бы тебе копеек двадцать за этого ежа, – сказал Иероним Вассианович.

– Помилуйте, двадцать копеек, – возмутился продавец. – Да я, может быть, сам за него двенадцать рублей отдал... двадцать копеек, за такого ежа?!

– Больше еж не стоит, я в этом убежден! – спокойно настаивал учитель. – Биржевая цена на ежей сейчас стоит очень низко...

– Ну, барин, больно вы мне нравитесь... Отдам уж по своей цене!.. Пожалуйста за пять рублей. Сами знаете, – теперь еж в диковинку... Сезона на них не бывает!..

– Двадцать копеек, – твердо стоял на своем Иероним Вассианович.

– Эх, господин, – волновался продавец, – уж больно продать хочется!..

И продал ежа за двадцать копеек.

Еж был куплен. А с тех пор-то и начались мучения учителя. Настоящие мучения, которых он никогда не испытывал, даже в тех случаях, когда его ученики из-за дурной отметки стрелялись или выпрыгивали из окна третьего этажа.

Началось с того, что теща, больная и мнительная женщина, сказала, что ежи приносят несчастье в дом. Что ежи уколами своих игл могут заразить детей. Что ежи неопытны и

портят воздух. Конечно, многого из того, что может наделать еж, она не могла вообразить, но мудрая старуха оказалась верной предсказательницей.

По ночам еж ловил крыс. Он бегал по всему дому и стучал лапками, точь-в-точь как разыгравшийся рязанский мужик топчет своими липовыми лаптями. Когда ему попадались по дороге крыса или мышь, он боком перевертывался иглами на нее, и так как она не могла вырваться, он тащил ее в темный угол и там перегрызал ей мозжечок.

К детям, к двум сорванцам, еж ежович был очень внимателен и только им двум позволял гладить свою прелестную хитрую мордочку с блестящими глазками, немного похожую на кабанью.

Но случилось, что еж наделал подряд два скандала. Угрозило его забраться в детский игрушечный автомобиль, длиною приблизительно в четверть аршина. И вот теща, от которой зависело все благополучие семьи, входит на балкон и видит, что автомобиль стремится по наклонной плоскости (пол на террасе был сильно косоват), а в автомобиле сидит еж, опершись лапками на руль, и делает:

– Теф, теф, теф, теф, теф!..

Дети с трудом объяснили ей, что здесь не было никакого колдовства, и хотя она в конце концов поверила, но еще долго тряслась от страха.

На другой день еж сделал еще более неприятный сюрприз. Теща пришла разыскивать игрушки для внучат, а еж как раз

забрался в ту корзинку, где эти игрушки всегда лежали. Бабушка подняла крышку корзинки и видит, что все шерстяные, деревянные и плюшевые слоники шевелятся, точно живые. Этого она уже не могла перенести и грохнулась спиной об пол. Нечего о том и говорить, что она на другой же день уехала в город, предав проклятию своего зятя.

Ежа хотели выгнать из дому. Но дети не давали его в обиду, а он привык к месту.

Однажды в дом повадился ходить хорек, который поедал домашнюю птицу. Вообразите себе встречу этих двух непреклонных и злых животных. И хоря и ежа наутро нашли мертвыми. Но никто не мог расцепить склепившиеся челюсти ежа.

Учитель Предтеченский тотчас же переехал с дачи в город. Он, оказывается, боялся опасных диких животных, вроде ежей.

Но дети трогательно, по-своему – как все дети – оплакивали смерть ежа. Они надели на себя – голоштаные мальчишки – ризы из газетной бумаги, сделали себе из веревок и камней кадила и с настоящими, искренними слезами пели:

– Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Ежаку!..

Брикки

Так называлась собака – английский бульдог белой масти, весом около двух пудов, пяти или шести лет от роду. Принадлежал он, – впрочем, это выражение всегда смущает меня. Как будто в самом деле отважная, самоотверженная, честная собака – раб, вещь, слуга человека, а не его искренний друг и товарищ. Просто – жил он вместе с моим хорошим приятелем, цирковым клоуном, и работал на манеже: прыжки через препятствия, сальто-мортале, лай по приказанию, угадывание цифр, благодаря куску мяса, положенному на определенную карту. В Брикки, как я уже сказал выше, был слишком большой для его роста вес. Но жир в нем совсем отсутствовал, – просто какая-то спиральная пружина, стальная бомба. Дружба между человеком и собакой была проникнута взаимным уважением и почти равноправием. В теплые весенние вечера, когда горячая собачья кровь доходит до точки кипения, клоун позволял Брикки пускаться на его риск и страх в уличные собачьи авантюры, и всегда Брикки безукоризненно прибегал в цирк к своему номеру, часто с разорванным ухом, с прокушенной ногой, весь в грязи, хромой, но по-прежнему веселый.

Мой приятель, уезжая на клоунские каникулы в свое родное место (Виареджио), поручил мне позаботиться об его собаке, и я, по моему благодушию и к своему несчастью, на

это согласился. Но надо сказать, что Брикки, всегда внимательный, приветливый и даже любезный к людям, был беспощаден ко всему, что стояло на четырех ногах. Это было его, как я думаю, природным недостатком. Еще ничего, что он изгрыз ножки всех столов и стульев в моем доме и превратил в бездыханные трупы двух наших любимых кошек... Я ему простил даже и то, что он игрушечную гостиную моей дочери растерзал на куски, откусив при этом хвост плюшевой обезьяне и оторвав головы и ноги трем куклам. Все это пустяки. Но начались и дела более серьезные. Весной я пробовал вывести Брикки без намордника и цепочки на улицу, на свежий воздух. И вот на расстоянии трехсот – четырехсот шагов от моего дома он истребал и уничтожил чуть не до смерти трех собак. Он кидался на них, как огромный таран, ударом головы сваливал с ног, потом хватал за шиворот, быстро встряхивал головой, и собачка уже лежала на земле – маленькая, узенькая, плоская. Одну из них, помесь фокс-терьера с таксой, он настиг у ее собственного дома и, испугавшись, что бедный песик переселится в свой собачий рай, очень старательно пропихнул его задними ногами в подворотню. Впрочем, надо сказать, что через неделю Бриккины жертвы кое-как по улице останавливались только для того, чтобы, лежа на солнышке, зализать ногу или бок, а через две – все трое уже грызлись и предавались разным весенним удовольствиям.

Однако мой друг не возвращался из своей Богом благо-

словенной Италии, и мое положение становилось с каждым днем труднее. Отчаянный пес привязался ко мне всем сердцем, всей душой и, вероятно, в угоду мне делал в день по двадцати скандалов. Но как раз на Пасху он преподнес мне такой сюрприз, что мы окончательно с ним расстались.

Пасха была поздняя. Зеленела трава в газонах, сладко пахли клейкие почки тополей, и черная смородина давала свой пряный, чуть-чуть одуряющий аромат.

В этот несчастный день (понедельник) к нам пришло несколько гостей – людей знакомых, близких и почтенных. Мы пили кофе в саду на скамейке. Брикки, к общему удовольствию, превосходил самого себя. Он как будто бы задался целью напугать, рассмешить и удивить почтеннейшую публику: с такой яростью он кидался на все предметы, которые ему бросали, так рычал, что становилось за него самого страшно.

И вот одна дама, прекрасно одетая – белое фаевое платье, – неожиданно предлагает:

– А попробуйте, бросьте ему вот этот камень.

В камне этом было около полутора пудов веса. Я с трудом выбил его ногой из земли. Он был мокр, черен и грязен. Но это ни на секунду не затруднило Брикки, который развеселился и жаждал дальнейших успехов у публики. Камня ему сдвинуть с места не удалось, но он грыз его с таким ожесточением, что его голова от ушей до подбородка сделалась черной, как у самого черного арапа, да еще вдобавок – слюня-

вой.

Тут и случилось мое несчастье. Сострадательная и милая дама в нарядном новом белом платье вдруг сжалилась над бедной трудолюбивой собачкой и позвала ее:

– Брикки, Брикки, Бриккинья!

Очевидно, Брикки нашел выход из неловкого положения. Все равно он чувствовал, что камня ему не одолеть. С быстротой торпеды он кинулся на призыв дамы. В четверть секунды он успел облизать ей все лицо и кофточку, которые, кстати, исцарапал своими жесткими когтями. С искаженным лицом, с красными пятнами гнева на щеках направилась дама в дом, чтобы привести себя в порядок. По дороге она повторяла:

– Ничего, это замоеется, какая прекрасная собака!

Но губы у нее кривились и вздрагивали, а в глазах стояли слезы огорчения.

Затем Брикки с такой же скоростью кинулся на гостившего у меня тонкого, длинного, долговолосого поэта и сшиб его ударом головы в живот со скамейки спиной в газон. Потом он ринулся в курятник и выгнал оттуда всех кур, петухов, индюков, гусей и уток. Он, кроме того, обтрепал в бахрому нижний край брюк старенького, добродушного лесничего, истоптал и погрыз на рабатках почти все молодые нежные всходы ранних амариллисов, крокусов и нарциссов; изгрыз руку одной старой дамы, думая, вероятно, что играет с косточкой, и в самом высшем стиле перепрыгнул, не кос-

нувшись, через маленькую нарядную девочку, которая, сидя на скамейке, лепила куличи, а та от ужаса шлепнулась на землю задушкой и заревела на весь сад. А после всех своих подвигов Брикки лег на солнце, на песке с таким невинным видом, как будто ничего не случилось. И в глазах его я читал такое выражение:

– Да, все обижают бедную собаку, никто ее не пожалеет. За что, за что меня ударили прутом по спине?

Однако на этот раз я не поверил искренности Брикки и с громадным удовольствием отдал его моему другу, когда тот вернулся из Италии. Пес этот и поныне жив и работает в цирке, но должен сказать, что я отказал ему в своем гостеприимстве, так же, впрочем, как и мне пришлось отказаться от гостеприимства милой, доброй дамы в белом, в семействе которой меня в первый же визит встретили с полярным холодом, градусов в семьдесят пять по Фаренгейту.

1914

Скворцы

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колесах по дорогам, покрытым густой грязью. Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и темным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась черная, жирная, парившаяся на солнце земля. Березовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали желтыми, пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчелы вылетели из ульев за первым взятком. На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые – скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ, с юга Европы, из Малой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех тысяч верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. Сколько невероятных усилий должно употребить для такого перелета маленькое существо, весом около двадцати – двадцати пяти золотников.

Право, нет сердца у стрелков, уничтожающих птицу во время трудного пути, когда, повинуясь могучему зову природы, она стремится в место, где впервые проклюнулась из яйца и увидела солнечный свет и зелень.

У животных много своей, непонятной людям мудрости. Птицы особенно чутки к переменам погоды и задолго предугадывают их, но часто бывает, что перелетных странников на середине безбрежного моря вдруг застигнет внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, силы ослаблены дальним полетом... Тогда погибает вся стая, за исключением малой частицы наиболее сильных. Счастье для птиц, если встретится им в эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они на палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно вверяя в опасности свою маленькую жизнь вечному врагу – человеку. И суровые моряки никогда не обидят их, не оскорбят их трепетной доверчивости. Морское прекрасное поверье говорит даже, что неизбежное несчастье грозит тому кораблю, на котором была убита птица, просившая приюта.

Гибельными бывают порою и прибрежные маяки. Маячные сторожа иногда находят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи птичьих трупов на галереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг здания. Истомленные перелетом, отяжелевшие от морской влаги птицы, достигнув вечером берега, бессознательно стремятся туда, куда их обманчиво манят свет и тепло, и в своем быстром лете разби-

ваются грудью о толстое стекло, о железо и камень. Но опытный, старый вожак всегда спасет от этой беды свою стаю, взяв заранее другое направление. Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если почему-нибудь летят низко, особенно ночью и в туман.

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день и всегда в определенном, избранном из года в год месте. Одно такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе, весной. Это дом на углу Преображенской улицы и Соборной площади, против соборного садика. Был этот дом тогда совсем черен и точно весь шелестел от великого множества скворцов, обсевших его повсюду: на крыше, на балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой, сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, щебетания и всяческой скворчиной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни минутки. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, мудрые скворцы сидели в важном одиночестве и степенно чистили клювами перышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым, а если неосторожный пешеход, бывало, зазеваается, то беда грозила его пальто и шляпе.

Перелеты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час иногда до восьмидесяти верст. Прилетят на знакомое место рано вечером, подкормятся, чуть подремлют ночь, утром – еще до зари – легкий завтрак, и опять в путь, с двумя-тремя остановками среди дня.

Итак, мы дождались скворцов. Подправили старые скворечники, покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было три года тому назад только два, в прошлом году пять, а ныне двенадцать. Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при первом тепле, заняли скворечники. Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков – на севере Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге, а чуть весна – лезет в чужое гнездо, что поближе к дому, – в скворечье или ласточкино. А выгонят его, он как ни в чем не бывало... Ерошится, прыгает, блестит глазенками и кричит на всю вселенную: «Жив, жив, жив! Жив, жив, жив!» Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира!

Наконец девятнадцатого, вечером (было еще светло), кто-то закричал: «Смотрите – скворцы!»

И правда, они сидели высоко на ветках тополей и, после воробьев, казались непривычно большими и чересчур чер-

ными. Мы стали их считать: один, два, пять, десять, пятнадцать... И рядом у соседей, среди прозрачных по-весеннему деревьев, легко покачивались на гибких ветвях эти темные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни. Так всегда бывает, когда вернешься домой после долгого трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал – и весь сразу точно размяк от прежней усталости: сидишь, и не хочется двигаться.

Два дня скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обычно скворцы по два сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет – высунет свой острый хитрый нос из круглой дырочки – и назад. Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. «Слетаю, – думает, – на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит – другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят

в воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». – «Как? Мне? Да я его сейчас!» – «А ну-ка, ну-ка...» И пойдет свалка. Впрочем, весной все звери и птицы и даже мальчишки дерутся гораздо больше, чем зимой.

Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно мало, не больше пяти сантиметров в поперечнике.

А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет Божий разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок! То-то раздолье! Скворец никогда весной не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как ласточки, ни на дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в непрерывном движении.

Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с перевалочкой с боку на бок.

Внезапно он останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо. Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять... Черная спинка его отливает на солнце металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во время этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно улыбаешься.

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать птице червяков или крошки хлеба сначала издали, потом все уменьшая расстояние. Вы добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы – большой. Птица же создание очень умное, наблюдательное: она чрезвычайно памятьлива и признательна за всякую доброту.

И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет зари окрасит деревья и

вместе с ними скворечники, которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже рассеялись на высоких ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы насслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок малиновки, и музыкальное лепетание пеночки, и тонкий свист синички, и среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься: закудахчет на дереве курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное отступление, скворец, как ни в чем не бывало, без передышки, продолжает свою веселую, милую юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец (и только один, потому что слышал я его всегда в определенном месте) изумительно верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого гнезда, на крыше малорусской мазанки, и выбивает звонкую дробь длинным красным клювом. Другие скворцы этой штуки не умели делать.

В середине мая скворец-мамаша кладет четыре-пять маленьких, голубоватых глянцевиных яичек и садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность – развлекать самку по утрам и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около двух недель. И,

надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит. Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная скворчиная песня?

К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит целиком из головы, голова же только из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми – они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок; страшно отлучиться далеко от скворечника.

Но скворцы – хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около гнезда – немедленно назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и, тихонько посвистывая, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает сигнал, и все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали, по крайней мере, за версту трех галок. Что это было за ярое преследование! Скворцы взмывали легко и быстро над галками, падали на них с высоты, разлетались в стороны, опять смыкались и, догоняя галок, снова забирались ввысь для нового удара. Галки казались трусливыми, неуклюжими, грубыми и беспомощными в своем тяжелом лете, а скворцы были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим в воздухе.

Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы и не заметили, как маленькие подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные жилища и ведут новую жизнь в лесах, на озимых полях, около дальних болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, готовясь к осеннему перелету. Скоро предстоит молодым первый, великий экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, покружатся в воздухе, присядут на ветке около скворечников, легкомысленно просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и улетят, сверкая легкими крыльями.

Но вот уже завернули первые холода. Пора в путь. По какому-то таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак однажды утром подает знак, и воздушная конница, эскадрон за эскадроном, взмывает в воздух и стремительно несется на юг. До свидания, милые скворцы! Прилетайте весной. Гнезда вас ждут...

Козлиная жизнь

В некотором царстве, в некотором государстве...

Впрочем, нет. Этот рассказ не так начинается.

Не в каком ином, как в нашем царстве, в собственном государстве, давным-давно жили-были дед да баба. И, как водится, не было у них детей. Были только: кошка Машка, собачка Патрашка и говорящий скворец Василий Иванович.

Свыклись они все и жили дружно неподалеку от города. У каждого было свое занятие. Дед дрова колол, двор подметал, ходил пить чай в трактир и кряхтел на лежанке. Старуха сдавала на лето дачу дачникам из города и ругалась с ними от утра до вечера, а зимою вязала чулки и варежки и бранила старика. Патрашка ловил мух, лаял на луну и на свою тень и был самым отчаянным трусом в деревне; ночью все просился в горницу, портил воздух и во сне тоненько полаивал, – бредил. Кошка Машка думала, что весь дом, и все в нем люди и звери, и все молоко на свете, и все мясо – все для нее одной заведено. Такая была самолюбивая. Оттого она очень обижалась, если, бывало, дед ее стукнет около молочника ложкой по голове или баба оплеснет водой.

Скворец Василий Иванович жил над окном, в открытой клетке, но ходил на полной свободе по всему дому, и все уважали его за ум и за образование. Очень искусно Василий Иванович истреблял тараканов и весьма похоже передразни-

вал: как дед ножик точит, как баба цыплят с крыльца сзывает, как Машка мурлычет. Как только дед с бабой за стол сядут, скворец уже на столе. Бегаёт, вертится, попрошайничает: «Ч-что же это такое, с-скво-руш-шку-то поз-за-были?» А если и это не помогает, он прыг деду на голову да в лысину его – долб! Дед взмахнет рукой, а Василий Иванович уже над окном и верещит оттуда: «Что же такое за штуки? Что же это такое?»

Так-то вот они и жили в великом согласии. Раз зимою легли они спать. А на дворе была вьюга. Вдруг баба повернулась на бок и говорит:

– Дед, а дед, как будто у нас около калитки кто-то кричит... жалобно так...

– А ты спи знай, – отвечает старик. – Я только что второй сон начал видеть. Никто там не кричит. Ветер воет.

Помолчали, помолчали. Опять баба беспокоится:

– Да я же тебе говорю, встань ты, старый трутень. Ясно я слышу, что это ребеночек кричит... Мне ли не знать?

Тут все звери проснулись.

Машка сказала:

– Это не мое дело. Если бы молоко или мышь, тогда так... А понапрасну я себя беспокоить не согласна.

Вспрыгнула на печку, задрала заднюю ногу кверху, как контрабас, и завела песню.

Патрашка потянулся передними лапами, потом задними и сказал:

– Беф! Что за безобразия, уснуть не дают!.. Беф-беф! Целый день трудишься, покою не знаешь, а тут еще ночью тревожат. Беф!

Покрутился, покрутился вокруг собственного хвоста и лег калачиком.

На дворе что-то опять запищало. Даже и дед услышал.

– А ведь это ты верно, баба. Не то ягненок, не то ребенок. Пойти, что ли, посмотреть?

Спустил ноги с лежанки, всунул их в валенки, снял с гвоздя тулуп, пошел на двор.

Приходит.

– Старуха, зажги-ка огонь. Погляди, кого нам Бог послал. Баба зажигает, а сама торопится:

– Кого? Кого? Мальчика? Девочку?

– Совсем наоборот. Не ребеночек, а козя. Да ты посмотри, какая прехорошенькая.

Вынул из-за пазухи, подает бабе. Та разохалась:

– Ах, ах, ах, что за козя! Что за козюля удивительная. Настоящая ангорская.

А козя вся дрожит: на ножках и на брюшке у нее снег обледенел комьями, хвостиком вертит и прежалостно плачет:

– Б-э-э... Молочка бы мне-э-э!..

Дед своей старухи боялся и знал, что она скуповата. Однако осмелился, прокашлялся:

– Ей бы, старуха, молочка бы? А?

А старуха и рада:

– Верно, верно, старик. Я сейчас.

Налила молочка в блюдце. Но козя была совсем мала и глупа, ничего не понимает, только ногами в блюдечко лезет и все блеет.

Тут старик догадался:

– Подожди-ка, я ей соску сооружу.

Налил молока в аптекарский пузырек, обвязал сверху тряпку, колпачком, и сунул козе в рот... Уж так-то она принялась сосать, что просто ужас. Аж вся трясется и копытцем по полу стучит.

Кошка Машка говорит:

– Здравствуйте! Мое молоко и вдруг каким-то бродягам.

А Патрашка сказал:

– Совсем с ума спятили наши дед и баба.

И полез под кровать.

Василий Иванович проснулся, когда зажгли свечку, и закрипел что-то спросонья. Но увидел, что рядом на стене ползет таракан. Тюк! – и нет таракана.

А козя выдудила пузырек, еще требует. Дали ей другой, и третий, и четвертый. А сами на нее не налюбуются. Но потом дед пощупал у нее животик и говорит:

– Точно турецкий барабан. Будя. Облопаешься. Идем-ка лучше спать.

Залез на печку и взял козю к себе под армяк.

Очень скоро козя в доме освоилась. Научилась скакать с пола на лавку, с лавки на лежанку, с лежанки на печку. И

такая утешная стала, ласковая, что просто одна прелесть. Не только из рук ест, но даже по карманам шнырит. И все бегают, суется, хвостом трясет, орешки рассыпает.

Баба в ней просто души не чаёт:

– Послал нам Бог сокровище за сиротство за наше. Вот подрастет немножко козлетоночка наша и будет молока давать, каждый день по две бутылки. А мы его будем дачникам продавать. Молоко козье драгоценное, потому что очень целебное, – по полтиннику бутылка. А там острижем ее, и буду я зимою вязать чулки и перчатки из козьего ангорского пуха на продажу. И тебе, старик, свяжу к твоему дню ангела напузники на руки.

А козенька между тем растет не по дням, а по часам, умнеет просто по минутам. Такая, наконец, премудрая козища стала, что даже уж невтерпеж. Сначала, что она выдумала? Дедов табак жевать. Свертит он, бывало, себе крученку, заслюнит и положит на краешек стола. А коза уж тут как тут. Хап, и давай сигарку зубами во рту перетирать и проглотит. Один раз ухитрилась: дед забыл ящик задвинуть, так она целый кисет с табаком вытащила, изжевала и съела.

Но это еще было полбеда. Пришло лето, и козенька показала все свои способности. Что ни день, то на нее жалоба. Там капустную рассаду потоптала, там грядку левкоев слопала, там молодые яблоньки обглодала...

– Вы бы хоть привязали ваше убоище! – говорят старикам соседи.

– Привяжешь ее, как же! Пробовали мы ее привязывать, так она все веревки перегрызает.

– Ну, а все-таки поглядывайте, неудобно так-то...

И, кроме того, изучила она одну преподлую манеру – стала бодаться. Идет по двору человек и без всякого внимания. А она потихоньку зайдет сзади, да как разбежится, да как саданет лбом под коленки, тот мигом на задущку и сядет. Многие очень обижались.

И чем дальше пошло – тем пуще. Чем больше козлища растет, тем больше наглости набирается. Через улицу в огороде весь молодой картофель повытаскала, у батюшки всю клубнику викторию начисто уничтожила, у волостного писаря сахарный горох истребила. Каждый день – новое бедствие.

Не вытерпели наконец мужики, собрались вместе и пошли к деду-бабе.

– Как себе хотите, дед-баба, а больше нашего терпения нет. Житья нам не стало от вашего чудовища беспощадного. Вы его или продайте, или на мясо зарежьте. А мы больше не согласны.

Пробовала было баба заступиться:

– Что уж вы так строго? Чай, не разорила вас моя бедная ангорская козочка.

Мужики как грохнут от смеха, как закачаются:

– Да что ты, матушка! Разуи глаза-то. Разве же это ангорская коза? Настоящий, что ни на есть, деревенский козел, и

борода у него, как у председателя.

– Да неужели же? Батюшки, стыд-то какой. Пропали мои ангорские варезки! Ах, пропало мое козье молочко.

И в ту же ночь пристала к старику без короткого. Пилила его, пилила...

– Осрамил ты меня на всю округу. Куда мне теперь глаза девать? Засмеют, задразнят меня, станут козлиной бабушкой звать. А все через тебя, окаянный старик. Нет, как хочешь, а чтобы этой страшной твари в моем доме не было. Завтра же веди ее на базар продавать. Иначе житья тебе от меня не будет.

Делать нечего. Покорился дед. Встал утром пораньше, обмотал рога козлу веревкой и повел за конец. А козел и тут отличается. То упрется копытами в землю, головой мотает, – с места его не стронешь. То как подерет вперед, старик за ним еле поспекает, рысью бежит. Парни идут навстречу, заливаются:

– Дедушка, а дедушка, кто кого на базар продавать тащит: ты козла аль козел тебя?

Однако кое-как дошли они до базара, верст за двенадцать от своей деревни. Удалось деду продать козла очень скоро и выгодно. Расставаясь с козлом, чуть не плакал дед. Говорил новому владельцу:

– Уж ты, милый человек, побереги козелка-то. Он не простой, а ангорский. Умен до чего: только не говорит!..

Вернулся домой. Отобрала у него баба деньги. Легли

спать.

А наутро... батюшки! Что за крик такой страшный на улице? Дед и баба к окну. А на них снаружи прямо так и пялится противная козлиная морда – ровно сам нечистый. Стал на дыбки, передними ногами в стену стучит, ушами хлопает, бородищей трясет, носом дергает и орет во все горло:

– Бэ-е-е-е... Поесть бы мне-э-э-э!..

А на шее у него мотузок веревки болтается. Отгрыз-таки, подлец!

Да это еще что! Глотнувши свободного-то воздуха, стал козел так по всей деревне озоровать, точно новый Емелька Пугачев объявился, которого дьякон в неделю православия с амвона проклиняет. Раз пять его старик водил на продажу. Один раз в телеге увез за тридцать верст, голову ему в мешок завязавши. Вернулся ведь! Через два дня вернулся. Весь в репье, в ссадинах, хромой, грязный, вовсе неприличный – и дерет горло на всю деревню:

– Рады ли вы мне-э-э-э-э?..

Дошло наконец до того, что опять пришли мужики к деду, на этот раз уже всей деревней от мала до велика. И сказали:

– Ну, дед, давай решать по душе. Либо ты один живи в деревне со своим козлом, а мы отсюда уйдем куда глаза глядят, либо уж, так и быть, мы останемся, а ты уходи от нас со своим извергом.

Тут бабу взорвало, точно бочку с порохом. Как напустится она на старика:

– И пошел ты вон из моего дома, и чтобы я тебя больше не видела, и на порог тебя больше не пущу, пока ты своего товарища не зарежешь. На вот, бери ножик и веди козла в лес. И больше я знать ничего не хочу.

Что оставалось делать старику?

Проснулся утром до зари, опять обвязал козлу рога и потянул за собой. А козел, как нарочно, вдруг добрый-предобрый сделался, ласковый-преласковый: точно его подменили. То мордой о дедово колено потрется, то в глаза ему заглянет, то за рукав его теребит...

Пришел дед в лес, сел у дорожки на пенек и заплакал:

– Ну, как я своего козлика доморослого зарежу? Лучше бы уж мне на самого себя руки наложить! Никак я не могу этого сделать.

Только вдруг слышит песню. Из-за ельника выезжают на дорогу справа по шести всадники-драгуны. Лошади под ними как на подбор, все рыжие, идут охотно, весело, фыркают на росу, поигрывают. Солнышко тут взошло, шерсть на них золотом отливает, блестит на оружии. Одна красота, а кругом все зелено.

Высоким тенором, задрав горло, заливается запевала:

Ротмистр скомандовал, дернул усами:

– Ребята, смотреть веселей.

А хор как хватит:

Справа по шести, сидеть молодцами,
Не огорчать лошадей.

Так по всему лесу гул и пошел. Все звери и птицы шарахнулись.

Вахмистр попридержал коня, подъехал к деду:

– Ты чего тут, старик, делаешь? О чем плачешь? Что у тебя за козел такой страховидный?

– Ах, батюшка-начальник, вот со мной какое горе... Так-то и так-то, – и рассказал дед всю свою беду.

– Ну, дедушка, это ты на старости лет глупости задумал. Подожди-ка, я тебя сейчас выручу. Стой, рравняйся!.. Ребята, желаете козла принять в эскадрон?

Солдаты обрадовались:

– Сделайте милость, Никандра Евстигнеева. Наши кони давно по козлу скучают. Первое дело мухи его вони не терпят, а главное, домовой его боится. Самое разлюбезное дело выйдет, если возьмете. Первый козел будет по всей дивизии.

– Ладно. Сколько, старик, хочешь за козла вместе с веревкой?

– Да что вы, служивые! Буду я с вас деньги брать? Вам в походе каждая копеечка нужна: и на шило, и на мыло, и попить чтобы было. Берите так.

– Утешный старикан. Ну, спасибо тебе.

– А вы далеко ли, воины, путь держите?

– Мы-то? А вот едем немцев бить.

– Ах вы, мои милые. Ну, дай вам Бог в сохранности вернуться.

– А ты живи, дедушка, поскрипывай. Эй, Петров, заводи.

Бесятся кони, брещат мундштуками,
Пенятся, рвутся, храпя-я-т.

Ударили в тарелки, засвистали соловьем, залился подголосок, заходил, заплясал бунчук...

Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.

Пришел дед домой туча тучей. Со старухой и говорить не хочет. Это он нарочно так притворился, что будто бы ему козла зарезанного жалко. Старуха поверила и ничего не спрашивает.

Но, как прошло недели с две, а козел все не возвращается, тут уж дед признался во всем откровенно. Ужасно баба обрадовалась:

– Спасибо, голубчик. Снял ты с моей души камень.

А козел, как поступил на военную службу, так как будто в ней и родился. Нашел наконец свое настоящее место. И сразу стал страх какой отчаянный! Бывало, идут драгуны перед обедом к водке, а уж кто-нибудь непременно вспомнит:

– Надо бы было и козлу поднести. Вася, Вася!.. Василь Васильч!

А он уж тут как тут. Вихрем примчался. Бородой трясет.
– Водки мне-э-э-э!

И хлеб с солью ему полагался. И табачку давали пожевать.
А за сахаром он сам по солдатским карманам лазил.

Но зато, как только полк выходит на ученье или на смотр, он уж непременно при первом эскадроне в первом взводе, в первом ряду, рядом с правофланговой лошастью. Отогнать его было никак невозможно. Даже генералы махнули на него рукой. Безобразно, конечно, когда козел своим диким галопом скачет рядом с конями, но ничего, мирились, знали, что козел – полковой любимец.

Потом козлу пришлось и на настоящую войну попасть. Долго он туда ехал: сначала по железной дороге, потом шел пешком, опять с лошадьми в вагоне, через речки на паромках переправлялся и вброд. Зашел совсем в неведомые страны. И тут о нем нам уже мало известно. Говорят, что ходил три раза в атаку на артиллерию. Был ранен, но легко, солдаты его своими средствами вылечили. Говорят тоже, что за его бесстрашие повязали ему солдаты на шею сине-бело-красную ленту. Вспоминал ли он о деде-бабе? Должно быть, вспоминал. Но дело воинское тяжелое, некогда не только письмо написать, а и поесть некогда...

Дед-баба до сих пор поскрипывают, но уж очень стареньки стали, вовсе дряхлые. Кошка Машка оглохла. Патрашка совсем поглупел, разленился и стал у него прескверный характер. Один скворец держится молодцом. Бывало, утром вдруг

заорет:

– Бэ-э-э! Молочка бы мне-эээ!..

Баба так к окну и метнется, а потом на скворца полотенцем замахает.

– Кшш ты, окаянный! До чего напугал. Я и вправду подумала, что это наша милая козинька просится...

Гусеница

Не особенно давно, весной прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу – фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая развертывалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах – словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни Февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака.

Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филлоксере. Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа: «Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Кон-

стантиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и еще, и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и – взгляните – какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, – потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше, на суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу».

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво:

– Да, это так. Я в партии, собственно, не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя, неиссякаемая святая теплота. Я замечал,

что бесчестный человек, лжец или трус не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, и овладевает не так, как мужскою душою, частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыденной, земной, тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое, деятельное сострадание подняли, всего на минуту, ее душу к небесам. Хотите расскажу? Это коротко.

Так вот: время действия – осень 1905 года, место – южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, недалеко от Севастополя. Теперь там большой приморский и виноградный курорт, а тогда это дело только еще начиналось, но все-таки было в поселке пять кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко, вроде сарая, трое докторов, больница, аптека, фотография, два училища, почтовое отделение, библиотека... вот, кажется, и все.

К осени все виноградные большие разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, да мы – случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоесть друг другу, но все-таки сходились, распивали чай,

шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух, как новость, содержание передовиц из либеральных газет – словом, делали все, что полагается русским передовым человеком, томящимся в собственном соусе. Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель... Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги – налопаются белого вина, как лошади, и ходят гурьбой, обнявшись, по набережной и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон:

Ах, зачем нас забрали в солдаты,
Посылают нас на Дальний Восток?
Неужели мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок.

Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал и потому весь был пропитан едкой и нетерпеливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым.

Особняком держалась его жена, Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но

совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распуسته-ха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет никогда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым неприкрытым образом. Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно... Надо сказать правду, нехорошо это у него выходило. И все из пустяков. Скучала очень Ирина Платоновна на юге, изнывала вся, особенно когда задувал на неделю ветер монтано; места себе, бывало, не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке. Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи: «А у нас, говорит, в Зарайске, крыжовник теперь поспел, большущий такой да мохнатый. Его хорошо в сиропе из вишневых листьев варить». А Борис усмехнулся, криво, одной щекой, и съехидничал: «Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжовниковая – *abraxas grossulariata*. Вот ты кто». Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее Гусеницей. Конечно, в добром смысле. Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет: «А как наша добрая Гусеница поживает?» И правда, была она самого ангельского характера. Вспоминаю я ее живо: всегда в широком капоте, с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно стеарином закапан. И всегда она, с утра до вечера, теряла и искала свои ключи. «Ах, куда я мои ключи девала? Господа, не видал ли кто, куда я ключи положила?» Но замечательно вкусно кормила.

Такой кефали, жаренной на шкаре с помидорами, я нигде не ел.

Так-с. А тут пошли большие события. Началась всероссийская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре конституцию объявили: куценькую, правда, лживенькую, но и то какие упования были! Да и все это время... я про теперешнюю революцию ничего не скажу... дело веселое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!

Вдруг вспыхнуло восстание в черноморском флоте. Шмидтовские дни... Потом расстрел «Очакова». Канонада и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили. По морю гулко звук идет, а дни стояли безветренные.

А на другой день после «Очакова» Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Мурузов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз, – именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота, все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул: «Это товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это мои приятели, люди порядочные, на них

можно положиться».

Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на «Очакове», как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели живо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться – вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь, неподалеку, спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. «И затем скройте их на несколько дней, рассейте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте, думайте! Шевелите головами, товарищи. Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дела выше головы».

И уехала. Ах, какая умница она была, какая прелесть, какая отреченная от себя, какая повелительная! Другая ее партийная кличка была Конфетка. Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк.

Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, Царство ему Небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия, собственно, не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел, и пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..

Трус, не прячься за угол, – твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь – не надо, тебя никто не осудит, ты человек больной. Но молчи, ради бога, молчи и не стыди ты меня!

Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все, что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей». Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов прокли-

наете в тряпочку? А «Вставай, подымайся» напеваете шепотком? Ну вот вам, поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему. От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка».

Потом она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачивать. Трех она направила в больницу, тогда, по счастью, пустовавшую, двух к фотографу, а пятерых на время приютила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, кряжистый, но очень уже они были изнурены: глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвижный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно было, что все они мыслю, воображением еще там, в огне, в ночном море, близко-близко от смерти.

Они сидели за непокрытым столом, а мы жались вокруг, растерянные, неумелые, какие-то деревянные, неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словесный диспут на тему – кто кого главнее, эсдэки или эсэры, и кому из них человечество обязано Черноморским восстанием, – глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят, и молчат, и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем.

Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! «Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребяташи, тяпнем после трудов праведных». Кто-то было захотел возмутиться: «Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве». Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления.

А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжите, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало.

А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке пароконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на план-

таж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да, вероятно, это так всегда и бывает: когда человека обуяла и точно электричеством его переполнила великая, самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и события. Не правда ли?

Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь, как бутылка к горлышку, сужался к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городской Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через тридцать шагов, справа от шоссе, находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель. Он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно, как в прописи».

Ирина Платоновна и я проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь. Мы остановились тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора «Васильдере» и расслышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью. Было холодно. Трава обындевела и торчала белой жесткой щетиной.

Ирина Платоновна одного за другим, молча, перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженные головы.

Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовничная!

И, замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проникательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку – брат. Одно море их просолило.

Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаки, завел с ним тонкий, ухищренный разговор. Онда матрос с «Очакова», тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей... Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги. И сказал после долгой паузы:

– Дурак. Штаны надел навывпуск, а нашпорники забыл.

1918

Пегие лошади

Апокриф

Николай-угодник был родом грек из Мир Ликийских. Но грешная, добрая, немудреная Русь так освоила его прекрасный и кроткий образ, что стал извека Никола милостивый ее любимым святителем и ходатаем. Придав его душевному лицу свои собственные уютные черты, она сложила о нем множество легенд, чудесных в их наивном простосердечии. Вот – одна.

Ходил, ходил однажды батюшка Николай-угодник по всей русской земле, по городам, по деревням, сквозь леса дремучие, через болота непролазные, путями окольными, дорожками просельными, в дождь и снег, в холод и зной... Всегда у нас ему много дела: умягчить сердце жестокого правителя, обличить судью неправедного, построжить жадного не в меру торговца, вызволить из сырой тюрьмы невинно заключенного, испросить помилование приговоренному к напрасной смерти, подать помощь утопающему, ободрить отчаянного, утешить вдову, пристроить сироту к добрым людям...

Народ наш – темный народ, слабый, неученый. Весь он грехом оброс, как старый придорожный камень грязью и

мхом. Куда ему обратиться в тяжелой беде, в болезни, в при-
скорбный покаянный час, когда глаза сквозь стены видят? К
Господу – далеко и страшно. Заступницу Небесную можно
ли тревожить мужицкой коростой? Другие святители и пре-
подобные – каждый по своей части. Некогда им. А Никола –
он свой, небрезгливый, простой, скоропоспешный и для всех
доступный. Недаром к нему не только православные прибе-
гают с просьбишками, но и всякие другие народы: и мордва,
и зыряне, и вотяки, и черемисы-идолопоклонники. Даже та-
тары – и те его чтут. Воры и конокрады – на что уж люди от-
петы, а и те осмеливаются ему досаждать краткой молитвой.

Так-то вот ходил и ходил угодник Николай по древней ши-
рокой Руси... Только вдруг является к нему небесный вест-
ник.

– Забрался ты, святитель, в такую трущобину, что сыс-
кать тебя мудрено, и все свои церковные дела ты запустил.
А между тем беда идет неминуемая. Восстал на православие
злой Арий-Великанище. Книги святоотческие наземь мечет.
Хулит святые таинства. Похваляется громко, что в неделю
православия стану-де я, Арий-Великанище, посреди Никит-
ского собора и при всем народе истинную веру навеки нис-
провергну... Поспеси же, батюшка Никола, на выручку. На
тебя одного надежда.

– Поеду, – молвил святитель.

– Да не медли, родной. Времени совсем чуть-чуть оста-
лось, а путь, сам знаешь, какой долгий.

– Сегодня же поеду. Сейчас. Улетай с миром...

Был у святителя один знакомый стоешник, по имени Василий, человек жизни благочестивой, но по своему делу первый знаток: такого другого протяжного ямщика было не найти. К нему и зашел во двор угодник.

– Облекайся, Василий. Пои коней. Едем.

Не спросил Василий – далеко ли. Знал, что если дело близости, то Никола милостивый пешком бы пошел, потому что очень жалел лошадей.

Говорит:

– Слушаю, отец. Посиди в избе. Мигом заложу.

В эту зиму снега лежали страх какие глубоченные, а дороги были еле проезжены. Запряг Василий трех лошадей гусем: впереди – лошаденка махонькая, лядашенькая, от старости вся белая в гречке, но хитрющая и в дороге удивительно памятливая; за ней – вороная, доброезжая, однако с ленцой – кнут ей вроде овса был надобен, а в оглоблях – доморослая гнедая кобыла, смиренная и старательная, кличкой Машка.

Навалил Василий в сани с отводами ворох соломы, покрыл веретьем, подтыкал с боков и посадил святителя. А сам уселся на облучке, по-ямщицьи: одна нога в санях, а другая снаружи, чтобы, значит, на раскатах отпихиваться. Шесть вожжей у него веревочных в руках да два кнута: один – покороचे, за валенок засунут, а другой предлинный, кнутовище на руку вздето, конец далеко за санями бежит, снег вави-

лонами чертит.

Неказистая троечка у Василия, а другая с ней никакая не сравнится. На двух передовых лошадях хомуты с бубенцами – бубенцы в лад подобраны, – а под дугой у коренника валдайский колоколец качается, малинового звона. Такая музыка, что за пять верст слышно: честные люди едут. Со стороны поглядеть – точно вразвалку лошади бегут, а ни одному знаменитому рысаку за ними впротяжную не угнаться – духу не хватит. Белая лошаденка шею опустила, снег разнюхивает, к снегу приглядывается; где дорога свертку дает, ей и вожжей не надо – сама путь верный учует.

Иной раз задремлет Василий на облучке, но и сквозь дрему одним ухом слушает. Только услышит, что разладились бубенчики с колокольчиком, мигом встрепенется. Если какая лошадь лукавит, постромок не тянет, на других работу валит, он ее сейчас же кнутом опамятует, а какая не в меру усердствует – ту вожжой попридержит, – и опять все в порядке. Бегут лошадки ровно и мерно, как заведенные, только уши назад торчком поставили. И звенят, звенят на дальнем снежном пути бубенчики.

Встречались им порою разбойники. Вылезут из-под моста молодчики придорожные, станут поперек пути заставой:

– Стой, держи коней, ямщик. Кого везешь? Боярина богатого, купца тароватого или попа пузатого?.. Говори: смерти или живота?

А Василий им:

– Разуйте глаза-то, олухи окаянные. Али не видите, кто сидит?

Поглядят разбойнички и в землю повалятся.

– Прости нас, негодяев, святитель Божий. Эка мы, дураки, опростоволосились! Прости, сделай милость.

– Бог простит, – скажет Никола милостивый. – А вы бы, братцы, меньше народ кровянили... Страшный ответ вам придется давать на том свете.

– Ой, грешны, батюшка, свыше головы грешны... А ты все же, милостивец, не забывай и нас, злодеев, в своих молитвах... Мир тебе путем-дорогой.

– И вам мир на стану, разбойнички.

Так вот Василий и вез святителя много дней и ночей. Кормить останавливался у знакомых стоешников: везде у него были дружки и кумовья. Проехали уже Саратовскую губернию, проехали колонистов, подались на хохлов, а за хохлами пошли чужие земли.

А тем временем выходит Арий-Великанище из своего высокого терема, припадает ухом к сырой земле. Слушал долго, поднялся чернее тучи, слуг своих верных кличет:

– Уж вы слуги мои, слуги верные. Учужал я издали, что Никола-чудотворец к нам из России поспешает. А везет его кесемской ямщик Василий. Приедет Николай раньше недели православия – все мы – и вы и я – пропадем пропадом, как тараканы. Делайте, слуги мои, все, что хотите и умеете, а

чтобы непременно вы мне святителя на день, на два в дороге задержали. Иначе – всем вам головы отрублю и ни одного не помилую... А кто изловчится и приказ мой исполнит, того осыплю золотом и камнями самоцветными и отдам за него замуж дочь мою единственную, красавицу Ересию.

Побежали слуги – как на крыльях полетели.

Едет Василий с угодником чужими странами. Народ все пошел диковинный, несуразный, неприветливый. По-русски совсем не хотят говорить. Сами лохматые, черные, а рыла у них скоблены, и глаза исподлобья, как у волка...

Остался путникам всего один переезд. Завтра к обедне будут в Никитском соборе. Остановились на ночлег в селе у какого-то тамошнего стоешника, на выезде. Суровый мужик попался, вовсе неразговорчивый и грубый.

Спросили овса для коней. «Нет овса, весь вышел». – «Ничего, Василий, – говорит Никола, – возьми-ка пустой мешок из-под сиденья да потряси над яслями». Сделал по его приказу Василий, и из мешка полилось золотым потоком тяжелое пшеничное зерно: полны кормушки насыпал.

Спросил поесть. Мужик знаками показывает: «Нет, мол, у меня для вас ничего». – «Ну что же, – говорит святитель, – на нет и суда нет. Хлеб у тебя, Василий, есть?» – «Есть, батюшка, малая краюха, только черствый хлеб-от». – «Ничего. Мы его в воду покрошим и тюрю похлебаем».

Поужинали, помолились и легли. Угодник на лавке. Васи-

лий на полу. Заснул Никола тихо, как ребеночек. А Василию не спится. Все у него как-то на сердце беспокойно... Среди ночи встал лошадей поглядеть. Пошел в конюшню, а оттуда бегом прибежал, лица на нем нет, весь трясется. Перепугался. Стал будить святителя.

– Отец Николай, встань-ко на минутку, пойдя со мною в конюшню, погляди, какая беда над нами стряслась...

Пошли. Отворили конюшню. А уже на дворе развиднать стало. Смотрит святитель и диву дается. Лежат лошади на земле, все как есть на части порублены: где ноги, где головы, где шеи, где тулова... Взревел Василий. Лошадки уж больно хороши были.

Говорит ему святитель ласково:

– Ничего, ничего, Василий, не ропщи, не убивайся. Этому горю пособить еще можно. Возьми-ка да составь поскорее лошадей, как они живыми были, часть к части.

Послушался Василий. Приставил головы к шеям, а шеи и ноги к туловам. Ждет – что будет.

Сотворил тогда Николай-чудотворец краткую молитву, и вдруг мигом вскочили все три лошади на ноги, здоровые, крепкие, как ни в чем не бывало, гривами трясут, играют, на овес весело гогочут. Бухнулся Василий в ноги святителю.

Еще до зари выехали. Стало дорогою светать. Вдалеке уже крест на Никитской колокольне поблескивает. Только видит Николай-угодник, что Василий на облучке то налево, то направо нагнется, все как будто бы что-то на лошадях разгля-

дывает.

– Ты что это там, Василий?

– Да вот, святой отец, все гляжу... Лошади-то мои как будто в разные масти пошли. То были ровных цветов, а теперь стали пегие, точно телята. Никак я в темноте да впопыхах все их суставы перепутал?.. Неладно это вышло, однако...

А святитель сказал:

– Не заботься и не суетись. Пусть так и будет. А ты, милый, трогай, трогай... Не опоздать бы.

И правда, чуть-чуть не опоздали. Служба в Никитском соборе уже к самой середине подходила. Вышел Арий на амвон. Огромный, как гора, в парчовой одежде, в алмазах, в двурогой золотой шапке на голове. Стал перед народом и начал «Верую» навыворот читать.

«Не верую ни в отца, ни в сына, ни в духа святого...» И так все дальше, по порядку. И только что хотел заключить: «Не аминь», – как отворилась дверь с паперти и поспешными шагами входит Николай-угодник...

Только что из саней выскочил, едва армяк дорожный успел скинуть, солома кой-где пристала к волосам, к бороде седенькой и к старенькой рясе... Приблизился святитель быстро к амвону. Нет, не ударил он Ария-Великана по щеке – это все неправда, – даже не замахнулся, а только поглядел на него гневно. Зашатался Великанище и упал бы, если бы слуги под руки не подхватили. Слов он своих пагубных

окончить не успел и только промолвил:

– Выведите меня на чистый воздух. Душно здесь, и под ложечкой у меня плохо.

Вывели его из храма в соборный садик, а тут ему беда приключилась. Присел он около дерева, и треснула его утроба, и вывалились его все внутренности на землю. И помер без покаяния.

А у Василия-ямщика с той поры повелись да повелись пегие лошади. И всем давно стало известно, что у лошадей этой масти – самый долгий дух в беге, а ноги у них точно железные.

Теперь зима. Ночь. Выходили мы на дорогу, смотрели – не видать ли на снегу змеистой борозды от Васильева длинного кнута, слушали – не слышать ли бубенцов с колокольчиками? Нет. Не видать. Не слышать.

Чу! Не слышно ли?

Песик-Черный Носик

В имении «Загорье», Устюженского уезда, Новгородской губернии, жила знакомая мне помещичья семья Трусовых – славная, бестолковая, дружная, простосердечная – прелестная русская дворянская семья. Вся жизнь ее можно очертить в двух-трех словах: уютный старый дом, постоянно гости, множество шумной и поголовно влюбленной молодежи на каникулах. Домашние наливки и соленья, запущенное хозяйство, трижды заложенная земля, фантастические вечерние планы: «А вдруг у нас откроются залежи каолина?» или «Говорят, что через нас скоро пройдет железная дорога, вот тогда-то мы поправимся...»

Как и полагается, в усадьбе жила пропасть всяких животных – нужных и ненужных, – не считая домашнего скота и птицы, то есть пять довольно сносных гончих, папин сеттер, несколько дворняг без должности и древний, полуслепой, полупараличный, оглохший, но все же яростно-злой Барбос на цепи; кошки кухонные, полудикие; кошки комнатные с ленточками и бантиками на шее; кролики; годовалый скандалист медвежонок; ежи; морские свинки; свирепый и вонючий хорек в клетке; сороки и скворец – будто бы говорящие, хотя никто не слышал их разговора; ручные белки; журавль; белые мыши; отдельный ручной комнатный баловник-поросенок; отдельный козел, мастер бодать прохожих под колен-

ки... и многое другое.

Настоящей же повелительницей этого животного царства, повелительницей мудрой, властной и кроткой, была младшая дочка Рая, тогда девочка лет четырнадцати. Всех своих двуногих и четвероногих подданных она знала по именам, происхождениям и характерам, и все они (кроме хорька) радостно отзывались и стремительно прибегали на ее зов.

Любовь к животным была в ней не болезненной чертой, а истинным, щедрым божьим даром, при помощи которого она делала чудеса.

Так, например, воспитывалась у нее в комнате молодая лиса, взятая из норы еще щенком-сосунком поздней зимой. Очень скоро она приучилась бегать за Раей, как собачонка; охотно по вечерам дремала у нее на коленях, а ночью спала у нее в ногах. Так прошел почти год. К следующей зиме шерсть на лисе из цвета кофе с молоком стала ярко-красной и блестела от хорошего питания и ухода.

Но в середине ноября какие-то таинственные, далекие голоса разбудили в звере вольные инстинкты, и однажды утром лиса убежала.

Следы ее вели по огороду, через прясла и дальше через снежное поле к лесу, находившемуся в версте от усадьбы. Рая никому не позволила преследовать беглянку, но сама вышла в поле, остановилась шагах в ста от околицы и начала звонко кричать тем же голосом, каким и всегда она звала свою лису:

«Лисинька, лись, лись, лись!.. Лисинька, лись!..»

Через час лиса показалась из леса. Она сначала робко, потом отважнее приближалась к Рае, ярко-красная на белом снегу, подошла вплотную и даже взяла из рук кусок вареной говядины. Но погладить себя не далась – прынула, вильнула пушистым хвостом и исчезла так быстро, как умеют только лисы.

Она пришла и на другой день на Раин зов, но больше уже не являлась. Должно быть, ею овладели очарование дикой лесной жизни и прелесть свободы. А может быть, ее загрызли соплеменники за чужой запах, за утраченную звериность?

Я не знаю, не слышал и не верю, чтобы кому-нибудь другому удался такой опыт с годовалой лисою, как Рае. Было в ней какое-то простое обаяние, заставлявшее животных быть доверчивыми к ней и добровольно покорными. Самые злые собаки и самые строптивые лошади успокаивались в ее присутствии. Охотно подчинялись ей и люди. В ней чувствовалось то лучшее, что присуще зверям: правдивость, чистота, смелость и внутренняя зоркость, давно утраченные людьми.

Поэтому неудивительно, что все в усадьбе невольно мирилось с ее страстью подбирать повсюду и приносить домой совершенно ненужных животных: увечных, старых собак; брошенных или заблудившихся щенят; слепых котят, отнятых у деревенских мальчишек, собиравшихся их топить; птенцов, выпавших из гнезда; подраненных зайцев и т. д.

Вот так-то она однажды и принесла в подоле юбки гряз-

ного, дрожащего двухмесячного щенка, подобранного ею в дорожной канаве в рыхлом снегу. Щенок был Раей обмыт и высушен в нагретом одеяле.

Оказался он престранной наружности: туловище рыжее, мохнатое, хвост гладкий, длинный, белый, уши коричневые, короткие, а вся морда белая, за исключением черного пятна на носу, за что он тут же и был назван «Песик-Черный Носик».

К тому же, несмотря на нежный возраст, он сразу проявил не только чрезмерную прожорливость, но и замечательную злобность.

– Более отвратительной собачонки я не встречал во всю мою жизнь, – сказал Дмитрий Семенович, Раин отец, «Великий Охотник», когда увидел щенка. – Его бы назвать не Черный Носик, а Кабыздох.

Такое же впечатление Черный Носик произвел на всех обитателей «Загорья» и производил на всех гостей. И это, вероятно, и было причиной того, что Рая взяла у блюдка под свое особенное попечение и сердечное покровительство.

А песик все рос и рос и к году окончательно выровнялся в самого мерзкого из псов, какие когда-либо бегали на четырех ногах, лаяли и портили воздух на обоих полушариях Земли. Казалось, в нем соединились все самые злые и порочные собачьи породы, и каждая отразилась в нем «максимумом» своей склонности к преступлению. У него были желтые, светлые глаза, подлый взгляд исподлобья и во всей мор-

де непередаваемое выражение трусости, наглости и низкого лукавства. Роста он был со среднюю гончую.

Он тайком душил кур и цыплят, воровал и выпивал яйца. Он никогда не мог насытиться и после хорошего, сытного обеда бежал на помойку и рылся в ней головой и лапами. Однажды он забежал в рабочую избу, где в печи кипели щи для работников, всунул морду в котел и, несмотря на ожог, вытащил-таки десятифунтовый кусок мяса с костью. За ним погнались, но он успел скрыться в малиннике и там дожрал говядину. Когда его нашли, он лежал на обглоданной кости и вызывающе рычал.

Он не выносил человеческого взора и потому кусал только за ноги, подкравшись сзади. Он трепал насмерть заморенных кошек и мелких собак. Но при первом грозном рывканье большого пса падал на спину и униженно болтал лапами в воздухе и вилял туловищем.

У него была прегадкая, грязная манера улыбаться, вертя мордой, морща нос и оскаливая зубы. Это бывало тогда, когда он готовился или выпросить что-нибудь, или совершить какую-нибудь подлость. Он никого из людей не любил, даже и Раю, свою благотворительницу, хотя и слушался ее немного, ради будущих подачек. Рая избаловала его тем, что рано позволила ему валяться на диванах и кроватях и спать в комнатах. Когда ему исполнилось два года и от него стало нестерпимо вонять псиной, то решено было заставить его ночевать во дворе. Но он подходил к окнам и так нестерпи-

мо, раздражающе выл, что его выпускали. Иногда Раины братья сгоняли его с дивана плеткой. Он рычал, визжал, прятался под диван или забивался в угол, но через пять минут, когда о нем позабывали, опять взлезал на то же место. У него не замечалось никакого оттенка самолюбия. Вообще он был предметом ненависти и презрения всего дома. Достаточно сказать, что к двум годам он не мог приучиться держать себя опрятно в комнатах...

Но всему бывает конец. Конец Песику-Черному Носику пришел в конце июля, когда ему стало около двух с половиной лет. Брат Раи, юнкер Дима, вошел в ее комнату, чтобы взять какую-то книжку с полочки, висевшей над Раиной кроватью. Но на кровати лежал Черный Носик. При виде Димы он мгновенно вскочил на все четыре ноги и яростно зарычал. Дима не был боязлив, однако вид собаки испугал его. Было что-то зловеще-страшное в ее вздыбленной шерсти, глазах, налитых кровью, в разверстой опененной и как бы дымящейся пасти.

Он захлопнул дверь и побежал жаловаться Рае. Рая в это время вместе с отцом подпирала в саду рогатками тяжелые ветви фруктовых деревьев. Она назвала брата трусишкой, вытерла руки о передник и быстро пошла в дом. Отец и брат в какой-то неясной тревоге побежали за нею.

Дмитрий Семенович немного замешкался. По дороге он забежал в свой кабинет, где у него – «Великого Охотника», убившего в своей жизни более пятидесяти медведей и без

числа всякого другого зверья, – все стены были увешаны редким и ценным оружием.

Рая сама открыла дверь. Черный Носик, как и прежде, вскочил с грозным рычанием...

– Песики-Носики, – пролепетала ласково Рая, делая шаг вперед и протягивая к собаке руку. – Черные Носики!..

Собака сделала огромный прыжок с кровати по направлению к девочке. В тот же момент, оглушив Раю и Диму, грянул сзади них выстрел, и пес, не докончив прыжка, перевернулся в воздухе, упал и покатился по полу, корчась в предсмертных судорогах.

Весь день Рая плакала и бранила отца и брата, называя их убийцами. Но к вечеру приехал старый, добрый ветеринар, за которым послали нарочного.

Ветеринар взрезал собачий труп и клятвенно уверил Раю, что пес был бешеный. А Рая ему верила. Они были давнишние друзья.

Рая успокоилась, хотя потом долго вздыхала от пролитых слез.

Золотой петух

Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, – если не в день летнего солнцестояния, 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче, в Вильд’Аврэ, в десяти километрах от Парижа.

Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви, с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там, за окнами, под открытым небом, в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так, иногда меня ласково пробуждали до зари – веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда.

Я распахнул окно и сел на подоконник. В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли. В темных паникадилах каштанов еще путались застрявшие ночью, как тончайшая кисея, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз: разве деревья не видят и не слышат?

Но веселый болтун-скворец и беззаботный свистун-дрозд молчали в это утро. Может быть, они так же, как и я, внимательно, с удивлением, прислушивались к тем странным, непонятным, никогда доселе мною не слыханным звукам – мощным и звонким, – от которых, казалось, дрожала каждая

частица воздуха.

Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земле трубят золотые и серебряные трубы, посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости.

Я знаю силу и пронзительность петушиного крика. В прежние времена, охотясь на весенних глухариных токах в огромных русских лесах, в десяти, пятнадцати верстах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревнях. Последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дальше их доносился победоносный крик петуха. И теперь, в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо, только что выкупавшиеся в ночной прохладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: «Ведь это сейчас поют все петухи, все, все до единого, старые, пожилые, молодые и годовалые мальчуганы, – все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем, и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах». В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух, вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжеству-

ющих прекрасно-яростных звуков. Повсюду – в Версале, в Сен-Жермене и Мальмезоне, в Рюелле, Сюрене, в Гарше, в Марн-ла-Кокет, в Вокресоне, Медоне и на окраинах Парижа – звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но полнозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золотого *do!*

Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую, точную паузу, и тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных мест, и, точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска великолепного Древнего Рима встречали своего триумфатора-цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, первые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдаленными восклицаниями радости, а внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим уже озаарились сияющим взглядом его лучезарных глаз.

Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с вос-

торгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть всей страны, может быть всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета: теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиных тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови. Или, может быть, сегодня празднуется день трехсотого тысячелетия памяти Древнего Петуха – праотца всех петухов на свете, того, кто, как воин и царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками?

«И, наконец, может быть, – думал я, – сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, и петухи-солнцепоклонники, обожеествившие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огнеликого бога».

Вот и солнце. Еще никогда никто – ни человек, ни зверь, ни птица – не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного, розового – розово-золотым, золотым. Вот уже золотой огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая по-

следние силы, в самозабвенном экстазе, трепеща от блаженства, закрыв в упоении глаза, поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор! И теперь я уже не понимаю – звенят ли золотыми трубами солнечные лучи, или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о Фениксе – таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на Востоке из пепла, дыма и раскаленных углей!

Постепенно смолкают земные петухи. Сначала ближние, потом дальние, еще более дальние, и, наконец, где-то совсем уже на краю света, почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо. Вот и оно растаяло.

Целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки. Часа в два мне пришлось зайти в один дом. Посреди двора стоял огромный лоншанский петух. В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира, блестели зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, развевались атласные ленты: красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил:

– Это вы так хорошо пели сегодня на заре?

Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову, черкнул туда и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным хриплым баском. Не руча-

юсь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал: «А вам какое дело?»»

Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек, не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему, быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?

Ю-ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички...

Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло – Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет – невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг – палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт...

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанишках, хвост как ламповый ерш!..

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать...

Вот так. А самое замечательное в ней было – это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто – не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей...

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками...

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, – его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливает-

ся и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно – он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия...

Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаясь домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору – гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птенцов высиживают поочередно – то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, – по женскому обыкновению, – господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он – хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, зашипит, как бутылка содовой воды,

разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем – гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды – не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька – сзади. Ну, ее просто описать невозможно – такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусятинная – точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки-таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее – трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так – дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребьячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и выдает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на

лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, – конечно, если только она в хороших, понимающих руках.

У арабов – лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом и дикого зверя залягает. А если чумазый ребяенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, – первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в

руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук: «Муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выразивших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дождалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, – и Ю-ю скользнула в детскую.

Там – обряд утреннего здорованья. Сначала – почти официальный долг почтения – прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почи-вал?»

– Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

– Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку!

Кошка – рассадник микробов...

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома – бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая косячная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом – кляк! – ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше – легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закранину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но – молча.

Мальчуган – веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд – и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для

нее – всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побегов – здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап – четвертая на весу для баланса, – взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутивого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!...»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу – только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся – и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит

еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки, и те не лают: заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на стиле, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною у правой руки пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судо-

рога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водит глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких черных уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтра.

За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И

ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голлом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таком кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно...

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие...

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безногая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот

ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, называл даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», прыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля, худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтой. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно – почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животное – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И еще. Был у нас знакомый непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мной из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.

– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна.

– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:

– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

Рыжие, гnedые, серые, вороные...

I

Илья Бырдин

Он невысокого роста, но строен, прям и крепко сложен. Серые глаза его посажены несколько близко к носу, но в них зоркость и смелость. Движения точны и гибки. Руки у него маленькие, но, даже при обычном осторожном пожатии, чувствуются их тугая упругость, сталь (вспомните толстовского троечника Балагу).

Он прекрасный собеседник; рассказ его жив, быстр и в меру насыщен содержанием. Только у русского, очень, совсем, насквозь русского человека, говорящего о своем привычном и любимом деле, можно заметить такую точность определений и чистоту языка, такую сжатую свободу речи и легкую послушность необходимых слов. Разговор с ним тем еще приятен, что он мало говорит о себе и совсем ничего о своих успехах на ипподроме; разве вытянешь из него насилием-насилу... Так, не от него, а из спортивного французского журнала, из статьи Little Driver'a я узнал о замечательном рекорде нашего славного наездника, который в продолжение одного бегового дня взял в семи заездах семь первых призов. Явление почти невозможное, особенно если вспомнить, что

знаменитый французский жокей Парфреман, прозванный на пелюзе «le crocodile» за ту неистовость, с которой он пожирал призы, пространство и своих соперников, взял однажды только пять первых призов в шести дневных скачках.

Благодаря этой-то личной скромности рассказ наездника так значителен и занимателен. Это история русского коневодства и коннозаводства, это история русского рысака от старинных великих орловцев Сметанки и Барса до чистокровных и чистопородных хреновских, наконец, до нынешней метизации голубой орловской крови с сухой и терпкой кровью американского рысака; это история великих охотников рысистого бега.

Первый, кого вспоминает Николай Кузьмич, это московский лошадиный барышник Илья Бырдин. Во времена Бырдина мой наездник еще и не родился на свет Божий, а мне, пишущему эти строки, было тогда лет пять-шесть, не более, но имя Бырдина я успел удержать в своей московской памяти. Кроме торговли конями, Бырдин держал свой собственный завод и пускал лучших лошадок на бега, не так ради денег, – призы тогда были игрушечные, – как из честолюбия.

– Москва, – говорит Николай Кузьмич, – усесистая Москва, совсем особенный город. Даже не город, а отдельное, ни на что не похожее государство: путаное, смешное, причудливое, черт знает какое широкое, иногда трогательное, иногда жестокое, но все-таки великое! Все друг друга знали. Любого извозчика вы могли бы в наше время спро-

силь: кто первый в Москве по голосу и по красоте служения протодьякон? Вам ответят без запинки – Шаховцев. Кто главный кулачный боец? – Никита Плешкин. – У кого лучшая голубиная охота? – У Сережки Вязьмитинова в Малом Голутвенном, что за Москвой-рекой. – В чьем трактире курить не дозволяется и соловьи в клетках? – У Егорова в Охотном. – Чей церковный хор поет умильнее прочих? – Хор Сахарова. – У кого самые вкусные расстегаи? – Ну, конечно, у Тестова, а калачи – у Филиппова. – Кто первый мастер устраивать народные гулянья, балаганы на Девичьем, фейерверки и ледяные горы? – Обязательно Сергей Шмелев. Так и Бырдина знала вся Москва, как непревзойденного ценителя и знатока лошадей.

Николай Кузьмич говорит, что его он не застал, но много ему о Бырдине рассказывал Алексей Федорович Шереметев, бывший лейб-гусар, промотавший очень много состояний, отличный скакун в стипль-чезе и на гиппических конкурсах, а на старости лет предавшийся целиком беговой охоте.

Бырдин был старообрядец, ходил в поддевке, сапоги бутылками, волосы острижены под горшок. Ни для кого не менял своей манеры. Надо сказать, что в те времена рысистой лошадей начали заниматься даже и большие господа. После братьев Орловых был какой-то перерыв. А потом снова заинтересовались. Что-то вроде патриотизма было, или случайная мода подошла.

Тогда только что заводил беговую конюшню молодой

граф Воронцов. Бега в ту пору были, извините за выражение, примитивные. Происходили они не на Ходынке, а на Пресне, на пресненских прудах, что против Зоологического сада. Не было тогда ни сулков, ни американок, ни оберчеков, ни бандажей, ни наглазников; летом гонялись на дрожках, зимой на легоньких санках.

Вот граф Воронцов возьми и влюбись в одного бырдинского жеребенка-трехлетка. Пристал к Бырдину без короткого – продай да продай. Давал две тысячи; по тому наивному и первобытному времени – сумма огромная. Бырдин – нет. Граф разгорячился: десять тысяч. – Нет! Рассердился граф: – сам назначай цену. Отвечаю. – Тогда этот упорный козел, Бырдин, говорит ему спокойно и, – как всем он всегда говорил, – говорит по-московски, на «ты»:

– Видишь ли, граф: ты и молод, ты и красив, и многим взыскан от Бога, и государь к тебе ласков, и богат чрезвычайно, и женщинами любим. На кой ляд тебе мой жеребенок? Ведь это каприз у тебя, не больше? А для меня эта лошадка – моя последняя, единая радость. Давай, брат, разойдемся лучше по-хорошему и останемся приятелями. Жеребенка же не продам.

И граф понял, укоротился. Потом друзьями стали. Много Бырдин ему дельными советами помог по устройству завода.

И еще: по рассказу А. Ф. Шереметева, замечательно принял Бырдин на своем заводе государя императора Александра Второго. Царь любил лошадей и знал в них толк. Но

все-таки как любитель, как, извините за выражение, дилетант, он предпочитал серых в яблоках. Самая нарядная, но и самая ненадежная масть. В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмывливаются. Относится это отчасти и к карачковым, и к игреневым.

Царю рассказали про Бырдина. Он заинтересовался. Обещал приехать поглядеть бырдинскую конюшню, которая помещалась тут же, на Пресне, вблизи бегового круга. И в самом деле приехал. Тогда еще цари держали твердо свое обещание, кому бы оно ни было дано. И приехал не один, а втроем: с государыней императрицей и с молодым наследником-цесаревичем. Три кресла были особам приготовлены: красный рытый бархат, а ножки в антоновской позолоте, чистого листового золота. Потом эти кресла так и остались Бырдину на память: только он к ним на спинках укрепил золотые дощечки с именными надписями. И уж, понятно, никому на эти кресла садиться не позволял и сам не садился.

Встретил он царскую фамилию в воротах, обнажив лысую голову. Поклонился истово, по-прежнему, глубоким русским поклоном, коснувшись пальцами земли.

Государь ему говорит:

– Здравствуй, Бырдин.

Тот отвечает:

– Будь здоров и благополучен, царь великой России, со своей царской семьей и с твоими благими помыслами. Чаю,

лошадок моих приехал посмотреть? Сделай милость. Вот тут удобнее присесть. Как прикажешь, батюшка, с фасоном лошадей выводить или без фасона?

Села фамилия. Государь улыбается. Красавец он был необыкновенный! Говорит:

– Ну уж, Бырдин, это твоя воля. Тебе виднее. Давай хоть с фасоном.

– Слушаю, отец наш.

Легонько плеснул ладошками: «Выводи!»

Выводка – штука всегда серьезная. Нечего говорить, бырдинские конюха немножко подготовились. Раскрылись сразу все конюшенные двери. Ведут конюхи лошадей, все по паре. Пара серых, пара вороных, пара золотых, пара рыжих, пара розовых, пара соловых. Пляшут кони, чувствуют на себе взгляд знатоков. И конюхи, как на подбор: красные шелковые рубахи, шляпы с павлиньими перьями, бархатные черные штаны, сапоги лакированные. Коней едва сдерживают на развязках. А Бырдин только слегка ручкой помахивает: «Легше! полегше!»

Дело было на Масленой неделе. Значит, представьте себе: Масленица и Москва! Небо ярко-синее, облака мчатся, как лебеди, солнце палит, точно летом, снег – цвета халвы ореховой, со всех семи холмов московских бегут-бегут веселые, говорливые ручьи; с ледяных сосуллек на карнизах звонко каплет талая капель, будто многоцветные бриллианты падают, воробьи кричат так, что нет мочи; блинами по всему

городу пахнет, воздушные шары гроздьями качаются на нитках, все блестит, сверкает, сияет, весной с юга тянет!.. Какова рамка-то для такой картинки, как царская выводка лошадей? Красота!

Очень царь был доволен. Не успевал хвалить лошадок бырдинских. Сказал адъютанту: «Запиши: Бырдину из моего кабинета золотые часы с вензелем».

Бырдин же был мужичонко не без лукавства. Надо сказать, что в Москве он только прижился, а сам был ярославец. Ярославцы, вы сами знаете, – русские американцы. Очень они простосердечны. Однако про их простоту недаром сложилась поговорка: ярославская простота, что мордовский лапоть – о восьми концах. Он вдруг и говорит государю:

– Батюшка царь, знаю, что ты, подобно солнцу, всем даешь радость, и тепло, и свет, и негоже твоим подданным делать тебе подарки. Однако позволь, император, заплатить тебе маленький должок.

Государь удивился:

– Что ты, Бырдин, за пустяки говоришь?

– Оно, конечно, пустяки, батюшка, а вот отменил ты крепостное право. Освободились мы, русские мужики, и многие в люди вышли, слава тебе Господи. Сам ты изволил мою конюшенку похвалить. Уж позволь, государь, привести тебе в Питер трех сереньких лошадок?

Император позволил. И правда, доставили бырдинские молодцы в государеву конюшню тройку отменных серых же-

ребцов.

II

Великий размах

– После бырдинских, извините за выражение, мифологических времен, – так продолжает беседу Н. К. Черкасов, – пошло вскоре рысистое русское дело вперед огромными шагами, точно надело семимильные сапоги-скороходы. Строже стал учет резвости, дойдя от четверти секунды до десятых долей. Беговые дорожки становились с каждым годом все точнее и ровнее. В Москве бега с Пресни перешли на Ходынское поле; в Петербурге – с Невы на Семеновский плац. Беговые дрожки и санки отошли в область преданий. При мне уже на дрожках ездили только приказчики хлебобобовых губерний, а на легоньких санках – извозчики да купеческие сынки в Коломне и Серпухове. Установился для состязаний тип американской двухколески, на высоком и низком ходу, с крошечным сиденьем-блюдечком, с цепью стальных шариков в колесной втулке для легкости вращения, как у велосипедистов, с гуттаперчевыми шинами. В такой американке всякий лишний вес расчетливо удален прочь, и эту двухколесочку свободно может катить по беговой дорожке веселый семилетний карапуз. Дуговая запряжка и четыре колеса остались на бегах только так, в виде поблажки, в последних заездах, для городских экипажей.

Появились на русских ипподромах наездники-американцы. Высокая марка! Они нашим отечественным русопетам сначала могли пятьдесят очков вперед давать. Заметьте, нарочно упираю на слове «сначала». Американцы, зорко приглядевшись к русскому рысаку и русскому наезднику, высказали о них хотя и суровое, но все-таки очень лестное мнение.

«Если бы у нас в Америке, – говорили они, – выработался такой драгоценный беговой материал, как ваш орловский рысак, то мы давно уже показали бы миру настоящие чудеса во всех рекордах. И наездники русские, в большинстве превосходные, замечательные наездники. У них и любовь к делу, и физическая сила, и чуткая гибкость рук, и несравненный глазомер, и удаля, и находчивость, и зоркость, и понимание лошади. Но, к сожалению, обоим – и коню, и ездоку – не хватает одного пустяка: той тренировки, какая в Америке уже ведется десятилетиями».

Лошадь требует постоянной работы над нею, работы терпеливой, настойчивой, планомерной и строгой. Все ее усилия в беге должны быть механически направлены к трем практическим целям: быстроте, выносливости и долгому дыханию. Красота на заднем плане.

В самом деле, поглядите на чистокровного и чистопородного орловца. Что и говорить, писанный красавец! Рост огромный, сам серый в темных яблоках, голова – загляденье, глаз огненный, белый хвост до земли. – Словом, картина, пряник! А как он бежит! Шея круто собрана, передние ноги

на ходу он выбрасывает круто вверх, чуть не до морды, да еще вышвыривает их от колен в бока. Жирные мяса трясутся, селезенка екает, снежные комья так и брызжут в стороны. Восторг!

Но, однако, шея, собранная колесом, мешает воздуху свободно проходить в легкие. Вычурное выбрасывание ног вверх и в стороны заставляет лошадь тратить силу и энергию на ненужные, непроизводительные усилия. Трясущиеся мяса заместо мускулов – только лишнее бремя...

Поглядите теперь, как бежит лошадь с американским тренингом. Первое, что поражает, – это необычайная легкость ее хода. Спина прямая, шея и голова вытянуты почти горизонтально. Вам кажется, что копытом она как будто не опирается на землю, а лишь отталкивается от нее. Издали какая-то козлиная или собачья рысь, и главное, – совсем неторопливая, а между тем, с каждым этим непринужденным посылом ноги вперед американец пожирает сажени и свободно обходит племенного топчущего орловца, несмотря на то, что, глядя со стороны, орловец – весь полет, стремленье, буря!..

И наружность у американца неважная. Как бы клячеват он, ребра можно все пересчитать, но когда увидишь под тонкой кожей стальные рычаги его плечей и выпуклые длинные мускулы ног и все это сухое тело-машину, в которой нет ни капли жира, – тогда поймешь, что в лошади, кроме лубочной красоты, может быть и красота, восхищающая *сердце* истин-

ного спортсмена.

То же и о наездниках. Наездник должен – не только лошадь, но и себя самого держать в постоянной тренировке. Вот, например: в Москве было несколько толстозадых наездников, которые, кроме того, одевались в очень тяжелые путаные одежды. Им, видите ли, казалось, что вес важен только для скаковой лошади и что для беговой – разница в весе – пустяки. Нет, настоящий наездник никогда не должен забывать, что каждый сброшенный с его веса фунт – это прибавка одной десятой секунды к резвости в результате.

Еще: настоящий наездник, подготавливая лошадь к бегу, никогда не позволит себе лености, небрежности, пропуска времени и надежды на это дурацкое русское «авось», или «а вдруг», вместо спокойной и надежной уверенности в том, что он и лошадь вполне готовые к состязанию.

И еще: выезжать на беговую дорожку никогда не следует пьяным или выпивши. Тут дело не во вреде для здоровья, а в том, что под влиянием вина, хотя бы у тебя и была голова ясной, ты все-таки мозгом и нервами совсем не тот человек, который вел подготовительную работу с лошастью. Пусть ни один человек на ипподроме – если ты крепок – не заметит твоего состояния. Лошадь непременно заметит! Они в привычках не только постоянны, но и упрямы, и перемены в руках, в послышке, в голосе и в запахе не любят. И они нервнее любой драматической актрисы.

Пить?.. Отчего же не выпить при подходящем времени и

компании? Иной американский наездник за дружеской беседой, без всякого принуждения, не торопясь, высосет бутылку доброго Мартелевского коньяку VVSOP, и ничего с ним худого не станется.

Тоже вот жокеи: как они перед большими скачками спускают килограмма два с себя веса? Заберутся в так называемые римские бани, где градусов 60 жара по Реомюру, и потеют. А чтобы процесс потения шел быстрее, им подают шампанское во льду, а они его дуют без зазрения совести. Какие сердца надо иметь лошадиные! Но и у тех, и у других – закон: на ипподром выезжать – как стеклышко. Да вот вам пример: в конюшне Лазаревой был негр Ганнибал. Чудесный жокей, прямо сказать – волшебный. Однако глотнул он перед стартом в буфете какого-то крепчайшего состава – так лошадь еще до скачки его с себя сбросила и все ему лицо ногами растоптала. Кончилась в миг один его карьера, и остался человек навеки уродом.

Помнить должен еще наездник, что лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктом и физическими чувствами. Правда, человек ее часто превосходит зрением, иногда и рассудком. Но слышит лошадь лучше кошки, обоняет тоньше собаки, к ходу времени и к переменам погоды она чувствительна не хуже петуха; в памяти мест, событий и впечатлений нет ей равного на земле животного, чувством темпа она обладает в такой же степени, как цирковой жонглер или первоклассная балерина. Кроме того, она еще нервна,

мнительна и пуглива, но при хорошем воспитании и уходе она может сделаться и бесконечно доверчивой, и бесстрашной, и логичной. И надо дельному наезднику не забывать и того, что лошади, в сущности, совсем не свойственна рысь. Натуральные ее аллюры – шаг и галоп; недаром у нее задние ноги гораздо длиннее передних (как и у зайца, например: тот даже и шага не признает). Лошади здоровой, молодой, с добрым характером, внимательно обученной и вдобавок находящейся в хороших руках – не только в охоту, но и в наслаждение бежать рысью со скоростью – верста в две минуты. Однако есть моменты, когда хороший рысак, вопреки даже искреннему желанию и полному старанию бежать рысью, невольно стремится перейти в галоп, который был так свойствен его прапращурам в случае соперничества или опасности. Это бывает, например, тогда, когда рядом с ним, голова в голову, ноздря в ноздю, бежит равный по силам противник с настойчивой мыслью обогнать. Тогда от страстного, благородного соревнования лошадь – увы! – мгновенно забывает о тщательном воспитании в чинной рыси, перестает слушаться вожжей, а в результате – пять сбоев в галоп, а там и проскачка.

Но бывает и обратное. Встречаются лошади, прекрасные по своим рысистым качествам, но, как говорится, «без сердца».

Они способны честно и старательно бежать с той предельной резвостью, какую от нее требуют и какую она в силах

дать. Но все это только до борьбы. Едва начинает к такой лошади приближаться соперник, она уже волнуется и сдает, а когда противник выравнивается голова в голову, она бросает борьбу совсем. Таким рысаком «без сердца» был, например, знаменитый Крепыш. Это был у него, кажется, единственный порок, не считая того, что он был несколько узкой лошадью, не широк в ребрах, да, впрочем, и бабка была у него не надежна.

От множества причин еще может зависеть неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть, проснулась в дурном настроении духа, видела, может быть, дурной сон, плохо кована и так далее... Кроме того, ее чертовская память! На беговой дорожке ей памятливы все места, где она раньше засбоила, или была обойдена, или испугалась хотя бы занесенной ветром афишки, или была приведена в порядок хлыстом. А во всех перечисленных случаях, так же как и во многих других, только талант наездника спасет положение. Хороший наездник умеет все чувствовать вместе и одновременно с лошадью. По косящему назад глазу, по настроенно задвигавшимся ушам и еще по какой-то необъяснимой душевной связи с лошадью он чувствует ее волнение, упрямство, неуверенность, замешательство. У него есть много способов выправить и успокоить лошадь, и самый сильный из них тот, которого не передать словами: если хотите – это гипноз, напряженная передача своей воли воле нервного и чуткого животного. Это умеют делать наездники, либо ро-

дившиеся на свет Божий с призванием наездника, либо прошедшие длинный терпеливый искус.

– Мы, русские, – говорит Черкасов, – невольно должны были учиться у американцев, а кто не хотел учиться, тот все-таки подтягивался. Я с гордостью говорю, что моим учителем был Вильям Кэйтон, воистину король рысистого спорта... впрочем, они все трое были несравненные наездники. И папаша Франк Кэйтон, и сыновья Самуэль и Вильям. Другие англичане: Женька Реймер и Стар-Чугунная Голова были сортом куда пониже. Им и до русских было не дотянуться, до Константинова, Кузнецова, Иноземцева, Силкина, Барышникова, Иосифа Линевича, Фина, Ситникова, ну, да и о себе позволю сказать в конце поминания...

Так вот, я и говорю, что для русского рысистого дела наступил какой-то пышный – извините за выражение – Ренессанс. Новые лошадиные крови, новый прием тренировки, новые рекорды, новые наездники. Конюшни строились с большой роскошью. Денег не жалели. Какие славные имена рождались и блистали на ипподромах... Могучий, Ирис, Прости, Питомец, Пылюга, Сетный, Крепыш... Зайсан, Летун, Лель, Плутарх, Лаковый, Варвар, Лакомый Кусочек, Боярышня... не перечислишь.

А владельцы! Воронцов, кн. Вяземский, Ознобишин, Неандер, Коноплин, Телегин, Мамонтов, Красовский, Лежнев, Богданов...

Вот о Телегине могу говорить без конца. Он был не толь-

ко страстный любитель и величайший знаток лошадей. Нет, он свою охотничью забаву соединял с пользой и славой России...

Об этом замечательном человеке Черкасов действительно рассказывает с увлечением и почти благоговейно. Да и трудно было бы найти во всей истории русского рысистого спорта другую фигуру охотника, коннозаводчика и лошадиного знатока, хотя бы издали похожую на облик Николая Васильевича.

Если кто полюбит по-настоящему наше конское дело, то уж это – навсегда, на веки веков. Отстать нельзя. Можно бросить вино, табак, азартную игру; женщины от тебя сами рано или поздно отвернутся. Но истинного любителя – прекрасный вид лошади, ее могучее ржание, ее стремительный бег, ее чистое дыхание, ее бодрый запах – будут волновать и тревожить неизменно до глубокой старости, до самой смерти, и я даже полагаю, что и после нее.

III Могучий

Николай Васильевич с детства жил около лошадей. У отца его, отставного ротмистра, был свой завод в Курской губернии. Не очень большой, но заботливо поставленный.

Расширить дело старик Телегин не мог. Богаты Телегины были только древними дворянскими предками; да, может

быть, и не хватало энергии в возрасте преклонном.

Молодой Телегин с юности предался страсти к лошадям, и глаз на них природа ему отпустила самый пронизательный, так же как и тонкое понимание лошадиной души и характера. Вы скажете: это не мудрено приобрести, живучи на конском заводе? Нет, умение вникать в лошадь – это особый дар, который дается при рождении самой судьбою, подобно дару музыки, живописи и физической силы. Да вот вам пример: родной брат Николая Васильевича, тот знал хорошо лошадь; понимал и любил ее и даже считался недурным спортсменом, но не было в нем этого горящего восторга, этого насквозь видящего взора на лошадь, этой твердой и растяжимой воли, как у брата.

Николай Васильевич по строению ума и по настойчивости мог бы сделать себе большую карьеру в любой отрасли: легко бы мог стать доктором, адвокатом, инженером или пойти по дипломатической части. Однако лошадь взяла верх. И прекрасно сделали: молодой Телегин, что послушался своего призвания, а отец, что не противился душевному влечению сына, и вскоре старик, хотя и не без некоторого возмущения, должен был сознаться, что молодой отпрыск пойдет далее старой ветви.

Надо сказать, что ихний завод вел главным образом серую масть. Не знаю, было ли это пристрастие наследием от предков или старый Телегин, будучи гвардейским кавалеристом, служил в полку, ездящем на серых конях, но он от этой лю-

бимой масти не отступал.

Конечно, серые кони очень хороши, когда выступает целый эскадрон этих красавцев, под всадниками в полной парадной форме, с трубачами впереди. Слова нет, очень нарядны они и в городской шикарной упряжке, при голубой, скажем, сбруе. Но скаковые и беговые знатоки этой горячей масти не очень доверяют. Впрочем, насчет мастей есть у арабов очень недурная сказочка. Да верить ли ей?

Два араба, отец и сын, наделали каких-то бед во враждебном племени и должны были спастись как можно скорее. Поехали они. Сын был совсем молодой. Не трус, однако от непривычки к подобным переделкам невольно волновался и торопил лошадь. Отец ему говорит: «Не спеши, береги коня. Придержи его. Будет погоня».

Через некоторое время и правда послышался сзади конский топот, видна стала пыль. Сын загорячился, а отец ему:

– Не бойся понапрасну. Обернись назад. Не увидишь ли, какой масти лошади?

Сын поглядел и говорит:

– Серые.

– Ладно, натяни поводья. Серые скоро пристанут.

Скачут дальше. Через небольшое время отрок снова тревожится:

– О, отец! Слышится мне погоня уже гораздо ближе.

– Будь спокоен. Погляди назад. Какие?

– Каракоры, отец мой!

– Не торопись. Этим – не догнать. Отдай лишь чуть-чуть повода.

И в третий раз сын восклицает:

– Отец! Отец! Погоня близка. Вижу уже и лица всадников...

– Мать?

– Вороная.

– Еще не время. Надо беречь коней до последней минуты.

Отпусти поводья, но держи крепко.

Наконец, топот стал слышен уже настолько близко, что сам эфенди оборотился.

– Вижу, – сказал он, – рыжих и гнедых. Это настоящие лошади. Дай коню шпоры, сын мой, и – Аллах акбар! Бог велик!

Сам старший Телегин в те дни уже не мог отдавать всего своего времени и всех забот заводу, ибо от паралича отнялась у него вся правая половина тела. Передвигался он с великим трудом, не выпуская из здоровой руки костыля, а больше его возили в легонькой колясочке. Сидя в этой-то коляске, он все-таки каждый день смотрел из окна на проводку и проминку и, как что бывало не по нем, стучал костылем о пол.

Вот как-то раз он и дознал, что в Орловской губернии, на заводе у Потевни, продаются отличные жеребцы на племя. Не то чтобы призовики, но высоких кровей; есть и молодые. И вовсе не дорого. Ликвидирует хозяин дело.

Позвал он сына.

– Ну, Николай, тебе уже девятнадцать лет стукнуло. В лошадях ты толк мало-мало знаешь. Теперь тебе пришло время оправдать себя. Надо нам на заводе кровь подновить. Поезжай к Потевне за жеребцом. Смотри, вся будущность телегинского завода в твоих руках. Эх, жаль, что сам не могу поехать с тобой, обезножел. Но тебе верю. Полагаюсь не так на твои знания, как на твое сердце. Ступай. Вот деньги. Особенно-то не скупись, если заметишь что ладное.

Отправился Николай Васильевич. Приехал на завод. Хозяин знал его по отцу, встретил радушно, все честь честью.

На другой день стали молодому Телегину выводку показывать. Удивительные лошади. Статьи и высококровность первейшие. Но вот вывели одного вороного, чуть караковенького жеребчика, так лет пяти-шести. Тут у Телегина и сердце зашло. Ничего подобного он не только наяву, но и во сне не видел. Совершенная красота! Просто сказать: влюбился он в эту лошадь с первого мгновения, с первого взгляда, так же как вот юноша вдруг влюбляется в девушку.

Много их, прекрасных девиц, на виду: пятьдесят, сто... А сто первая уж так мила, что за нее жизнь отдать – одно удовольствие.

Однако и признака не показал своего восторга, потому что в лошадином, охотничьем деле простота – качество совсем никуда не годное. Интересовался Николай Васильевич больше как будто серыми. Это, впрочем, никого не удивляло:

всем было известно, что хотя на телегинском заводе немало хороших лошадей всяких других мастей, но главное предпочтение отдается серым.

Когда же Потebня стал расхваливать своего вороного жеребчика, то Телегин изображал на лице полное равнодушие. Говорил что-то сомнительное о почке, о ганашах, о путовом суставе...

Потebня думал про себя: «Молод еще, неук».

Но врезался вороной жеребчик до того в воображение Николая Васильевича, что тот и сон, и аппетит потерял. Купить? А что отец скажет? Нарочно затянул срок отъезда. Каждый день ходил смотреть проводку, проминку, прикидку; нарочно, чтобы еще хоть глазком на своего возлюбленного взглянуть.

Под конец решил: что бы там со мной ни случилось – куплю жеребца. Хуже смерти на свете ничего не может случиться.

«Да ведь и не съест же меня отец?»

Отчаянный он вырос юноша, дерзновенный. Характер-то у старика Телегина – ого-го!

Однако пора же было и собираться домой. Хорош гость в гостинку – есть такая неглупая пословица. Телегин сказал хозяину:

– Присмотрел я у вас двух, трех лошадок. Но без отца не смею решиться, боюсь маху дать. Вот отдам подробный отчет папаше, а уж там, как ему заблагорассудится, так, значит,

и будет.

Потом, как будто вскользь:

– Вороного вашего жеребчика я бы, пожалуй, у вас купил. Не для завода, – вы сами знаете, что папа больше серыми интересуется – а, признаться, для самого себя, для собственной забавы. Красив он в одиночной запряжке будет. Если сходно, я сейчас бы и выложил наличными.

Но Потebня в лошадях тоже был великий дока. Стали они ладиться. Телегин, хотя и мальчик почти что, но торгуется кремнем.

Кончилось тем, что отдал Николай Васильевич все деньги, которые ему ассигновал отец, да еще остался должен полторы тысячи. Известно: раз отчаянный человек закутил вовсю, то ему уж битой посуды не считать. Да и за такую плату никогда не отдал бы Потebня жеребца, если бы не крайность: сын у него служил лейб-гвардии в гусарском полку, самом дорогом из всей гвардии. Дело молодое, зарвался: промотал кучу денег, влез в векселя, пришлось так, что только три выхода: либо выходи из полка, либо пулю в лоб, либо расплачивайся. Потebня считал, что почти даром вороного отдал.

Во всю дорогу, когда везли и вели лошадь, Телегин от нее не отходил. На конюхов не полагался. Да и не мог вдосталь надышаться на свое сокровище.

Домой пришли к вечеру. Николай нарочно растянул время до сумерек. Да еще провел лошадь по задам, огородами, да по-за сараями. Все опасался: не ровен час, отец из окна

выглянет.

Пришел к отцу, поздоровался.

– Привел?

– Привел, папа.

– Ладно. Завтра утром пусть выведут. Спокойной ночи.

Ну, какая там «спокойная ночь», когда сердце бьется, как овечий хвост.

Настало и утро. Старик велел себя снести на крыльцо, чтобы лучше видеть. Уселся, подбородком на костыль оперся. Сын рядом.

Вывели вороного жеребца. Старик от гнева и изумления сначала онемел, никак не мог раздохнуться. Кровь ему в голову бросилась, и глаза наружу вылезли. Потом прохрипел через силу:

– Это что же за чучело, вороное? Откуда? Из погребальной процессии, что ли?

– Тот самый жеребец, которого я купил у Потебни. Поглядите, статьи-то какие.

– Я же тебе приказывал серого! Как ты посмел меня слушаться?

– Да ведь, папа, лучше этой лошади на всем свете нет... Поглядите статьи.

Тут старик вовсе взбесился. Метнул в Николая Васильевича костылем, на манер как Грозный Иоанн в своего сына. Попасть-то он попал, но, слава богу, костыль был без острого наконечника, а удар старческий, слабый.

– И не смей мне никогда на глаза показываться! А этого траурного уroda татарам на махан велю продать.

Однако недолго оставался Николай Васильевич в немилости. Старик отходчив был. Посылает наконец за сыном. Тот пришел, глаза долу, знает, что глубоко папеньку обидел.

– Становись, бунтовщик, на колени! Проси прощенья!

Тот опустил перед стариком на колени.

– Прости, – говорит, – дорогой папочка. Как увидел я этого жеребца, так сразу с ума сошел. Главное, статьи...

Тогда обнял старый Телегин сына за голову, притянул к себе, поцеловал в лоб.

– И ты меня прости. Ладно уж, признаюсь тебе, что на твоём месте и я бы не утерпел, нарушил бы родительскую волю, хотя скажу тебе, что дедушка твой раз в десять был меня покруче и на руку совсем не легок. Я вот все это время на вороного любовался, и с каждым днем он мне все больше и больше нравился. Правда твоя – статьи! Во многих, многих лошадях я Сметанкины черты подмечал и угадывал, а это – точно родной сын Сметанки. Небось должен остался? Потebня ведь знаток.

– Полторы, папа.

– Дешевле пареной репы. Ну, вот: чтобы свою грубость загладить, дарю тебе эту лошадь, и будешь ты вместо меня всем заводом заведовать. Вижу я, вижу, что ты вознесешь высоко нашу беговую фамилию.

Жеребец же этот был не кто иной, как знаменитый Могу-

чий. Ну-ка, подите, спросите о нем старинных завсегдатаев. При одном имени прослезятся. От него-то и пошел знаменитый телегинский завод. Какие лошади: Ирис, Варвар, Метеор, Тальони! И ведь дожил, дожил-таки старик Телегин до той поры, когда слава о телегинских лошадях пошла по всей России.

Когда старый Телегин скончался, то разделился Николай Васильевич полюбовно с братом. Себе оставил завод, брату – деньги, дома, землю. Сам жил большею частью при заводе, а брату в столицы, ради спортивного дела, посылал молодых жеребят и маток...

Повел после смерти отца Николай Васильевич свое заводское и беговое дело на широкую ногу. Блестяще его поставил. Конюхи про него говорили: «Не иначе, как он слово знает». Знать-то он знал, и вовсе не рыбе или воробьиное слово, а для него, как в открытой книге, была понятна каждая капля крови в жилах каждой лошади. Уж он, как мудрец, как профессор, знал до тонкости, какую каплю с какой соединить для получения великолепной беговой лошади. И нельзя сказать – как говорили иные завистники, – что ему «везло». Нет! Только труд и знание, опыт, любовь к делу... Ну и дар, понятно.

IV

Крутой характер

Другие коннозаводчики и владельцы обычно докладывали крупно, а то прогорали. А вот Телегин на одних призах себе крупное состояние сделал. Лошадей своих Телегин не любил продавать. «Ну зачем я продам лошадь, если мне ее жалко. Как расстанешься, если я ее еще как утробного жеребенка любил? Это – как матери отдать одного из сыновей в солдаты. Какого отдашь? И Сенюшку жалко, и Колюшка мил, и Петенька больно утешен. А мне зачем? Слава богу, одет, обут, сыт. Двух обедов не съем, двух штанов на себя не натяну». И очень часто из этой ревнивой жалости отказывал он очень выгодным покупателям. А давали ему иногда за жеребенка-двухлетку до сорока тысяч тогдашними, золотыми российскими рублями, – целую гору! За лошадьми с кровью Могучего тогда все владельцы конюшен и коннозаводчики гонялись наперегонки. И надо сказать, все его потомство было резво и красиво до умопомрачения.

Был раз такой случай: поставила на Московском ипподроме его лошадка, всем известная рыже-золотая Искра, все-российский рекорд, 2 мин. 7 ½ секунд, побивши старый рекорд на целую секунду с четвертью. Не только Николай Васильевич был доволен – всем коренным москвичам это было праздником. Редко когда любили знатоки лошадь так неж-

но и привязчиво, как любила Москва красавицу Искру. Ведь вся ее блестящая карьера прошла на Ходынском поле. И не так за красоту ее обожали и не за постоянные успехи, как за неизъяснимую прелесть ее наружности, бега и характера, подобно тому, как обожали и коноплинскую лошадь Прости.

Верите ли, – никогда она не нуждалась ни в посыле, ни в хлысте. То, что могла она сделать, она радостно и усердно делала в полную меру своих сил, без всяких капризов или фантазии.

Право, ехать на ней было как-то даже жалко. Так казалось, будто ты, большой, тяжелый, неуклюжий, едешь на изящном, легком, умном человеке.

Именно такое чувство испытывают русские, когда впервые едут на японце-рикше. И кротость этой чудесной лошади была какая-то женская или детская, во всяком случае, человеческая.

Вот таков же был, говорят, знаменитый французский стипльчезный крэк Heros XII... Жокей Митчель за всю долгую жизнь этой лошади ни разу не коснулся ее хлыстом. А ведь препятствия в Auteuil – вторые после Ливерпульских по серьезности и опасности.

И вот, после того как наездник, ехавший на Искре, уже вернулся с весов, а победительницу, надевши на нее попонку, проваживали после усиленного бега, взошел Николай Васильевич в членскую беседку. Навстречу ему приветствия, поздравления, протянутые бокалы с шампанским.

Тут же один из видных членов возьми и брякни словечко невпопад. Ведь знал же он резкий характер Телегина!

Был это Брежнев. В лошадином деле считался он вроде как не у шубы рукав или, иначе, пришей кобыле хвост. Но по натуре был он красив, беззастенчив, а с женщинами даже нагл. Женившись на очень богатой купеческой вдове, выбрался он из ничтожества в семью замоскворецких толстосумов. А еще больше питала деньгами, без отказа, всякую его взбалмошную затею старая мать жены, архимиллионерша, тоже вдова, известная даже среди московских просвирен под прозвищем Бабушка.

При таких-то сдобных условиях не трудно было Брежневу щеголять отличной беговой конюшней, которую обслуживали лучшие тренеры и первые наездники. Но сам он в городе был нелюбим за форс и за развязность.

Вот он-то и закричал навстречу Телегину:

– Слышь, Николай Васильевич, при свидетелях говорю, продавай кобылу. Любую цену дам, какую запросишь.

Телегин вдруг покраснел и весь напрягся.

– Не купить тебе, – говорит. – Продай всю свою конюшню да кстати и жену с бабушкой, а Искры тебе, как ушей своих, не видать.

Кругло было это сказано. Беговые тузы даже крикнули от удовольствия. Думали, что баталия произойдет. Но Брежнев ничего... съел...

Однако изредка бывали обратные случаи, когда Телегин

проявлял неожиданную мягкость и уступчивость.

Однажды наездника Черкасова вызвали спешно в Мраморный дворец. Оказывается, ждали его два молодых князька, двое Константиновичей, тогда еще кадеты и по дяде своему, великому князю Дмитрию Константиновичу, начальнику Государственного коннозаводства, страстные поклонники конской охоты.

– Посмотрите, пожалуйста, какого мы рысачка купили. Скажите по совести, напрямик ваше мнение.

Черкасов пошел с ними в конюшню, посмотрел рысачка и сказал:

– Раз вы, ваши высочества, от меня истины потребовали, то извольте: лошадь никуда не годится. Вислозада, коротка, узка, с коротким дыханием, на все четыре ноги тронута. Одно лишь есть качество – нарядна; но в работе сразу распухнет и осядет. Обманули вас. Всучили одра.

Просто жалко смотреть, как огорчились милые молодые люди... Один говорит:

– Мы хотели наши два автомобиля продать, но папа не позволил.

А другой сказал:

– На Пасху мы опять будем богаты. Скажите, Черкасов, можно ли у Николая Васильевича Телегина купить за десять тысяч порядочную лошадь? Телегин ведь, конечно, не обманет.

Черкасов сказал, что попробовать, во всяком случае, мож-

но. Важно лишь – какой стих найдет на Николая Васильевича. И действительно, написал о княжеской просьбе в Москву, Телегину.

Великим постом приехал Николай Васильевич в Петербург по тамошним беговым делам.

Занимался он как-то с Черкасовым вечером по конюшенной отчетности и вдруг вспомнил:

– Писал ты мне о княжатах, Константиновичах. Расскажи подробно.

Черкасов рассказал. О том, как их с рысаком надули жестоко, о том, как они свои автомобили продать ладили, о просьбе поговорить с Телегиным. Николай Васильевич улыбнулся:

– Охота смертная, да участь горькая. Ну что ж, надо мальчикам удружить. Все они, Константиновичи, в дедушку пошли: просты, доступны, ласковы. Их любят. И беднее всех других великих князей. Надо сделать юношам удовольствие. Давай-ка список просмотрим.

Тут и начались телегинские терзания. Ни с одним из рысаков он расстаться не может. У того отцовская кровь уж очень ценна, у другого дедушка был замечательный призер, та лошадь уже показала себя, другая – еще покажет. Этот жеребец в Могучего пошел, эта кобылка на Ириса похожа. Словом, как ни замахнется хозяин на какое-нибудь имя, так сейчас рука с карандашом опускается.

А у Черкасова был заранее намечен один жеребчик по

имени Ореол. Раньше он ничем не выделялся, так себе, середина на половину, но на последних прикидках в черкасовских руках стал постепенно показывать хороший ход и обещающую резвость. Дошла очередь до Ореола. Телегин задумался:

– Ореола разве?

А Черкасов равнодушно:

– Про него ни дурного, ни хорошего сказать нельзя. Пороков нет. Бежит лошадь, но это не Ирис и не Лавр. Трехлетком на верстовом заезде мало чего показал.

– А ну и дадим Ореола. Да и что с мальчуганов драть сразу десять тысяч? Им на конфеты ничего не останется. Так ты распорядись, чтобы расплата шла из призов, которые Ореол возьмет. Да от меня поклон княжатам передай.

И что же вы думаете? Одними весенними призами Константиновичи с Телегиным поквитались.

Оказал себя Ореол первоклассным рысачком. Телегин как-то потом сказал, шутя, Черкасову, когда речь зашла об Ореоле:

– Признайся, Николай Кузьмич, обвел ты меня тогда с Ореолом вокруг пальца?

– Был тот грех, Николай Васильевич. Мальчики уж больно симпатичные. Да и любовь к лошадям такая горячая...

– Да ладно, ладно. Рад, что рысак в хорошие руки попал.

Телегин широко на беговое дело смотрел. Это была для

него не личная забава, не утеха гордости или тщеславия, не прибыльное занятие. Нет! Лелеял он грандиозные мысли во всероссийском патриотическом плане. Давнишней мечтой его было устроить новый строго нивелированный ипподром, но не в столицах, а где-нибудь на юге, в Одессе, например, или в Севастополе, где воздух теплее, и легче, и насыщеннее кислородом от близости моря, где нет северных тяжелых атмосферных давлений.

– Там, – говорил он, – русский рысак в условиях, недалеких от калифорнийских, утрет нос американским рысакам и покажет себя в истинном блеске.

Вот оно – дело государственное!

1928

Пуделиный язык

Семья Мурмановых жила уже шесть лет в Париже, выплеснутая туда гражданской войной. Она состояла всего из двух человек: мужа и жены; детей им судьба не послала. Они очень обрадовались, когда, в начале седьмого года, собралась, после долгих письменных уговоров, и, наконец, в самом деле приехала к ним в Париж сестра Евгении Львовны, Ирина, с шестилетней дочкой, Кирой.

Кирочка сначала дичилась в новой, чужой и непонятной для нее обстановке. Была она похожа на хорошенького дикого зверька, вроде ласки или горностаюшки, впервые вылезшего из родного дома на огромный свет божий. И любопытно, и забавно, и страшно. Зоркие глазки жадно смотрят, острые ушки чутко слушают, маленькое тельце дрожит от волнения. Но чуть раздастся скрип, чуть мелькнет тень – зверек свернулся и уже готов юркнуть в норку.

Дети каждый день растут, каждый день меняются и каждое утро просыпаются новыми людьми.

Кира весьма скоро огляделась, освоилась и обвыкла. Характер у нее был живой, предприимчивый, открытый и смелый. А тут еще у нее нашелся такой легкий товарищ, союзник и затейник, как дядя Аркадий: лучшего ей было не сыскать.

Ее мама пожимала плечами и говорила в нос:

– Нет, Аркадий, ты мне Киру вконец испортишь. Пожалуйста, не смейся. Я серьезно. Тебе не шесть лет, и ей не сорок, чтобы проказить вместе по целым дням!

Была она женщина высокого роста, строгая, рассудительная. Все рассчитывала и знала наперед. Как сказала, что придет на полгода, так и прожила в Париже полгода, а потом уехала обратно в Россию. Там, видите ли, у нее осталось много дорогого: рояль, арфа, ноты, давние знакомства, любимый город, привычная квартира... Совсем ничего в ней не чувствовалось общего с младшей сестрой. Та вся состояла из доброты, ласки и очаровательной лени...

Дядя Аркадий и Кира не только тесно и нежно подружились, но от материнских выговоров стали как бы заговорщиками. Свой у них образовался язык, свои маленькие секреты, пожалуй, своя особая жизнь.

Ну, разве взрослые могли бы догадаться, что в этом милом и смешном союзе дядя Аркадий Васильевич потерял не только свое имя и отчество, но даже и родственное звание дяди? Для них двух, исключительно для них, он носил загадочное имя – Феофан.

Началось это с того, что однажды Аркадий прочитал девочке какие-то детские стишки. Они понравились. Прочитали еще раз и еще. Там, между прочим, были две смешные строчки:

С Феофаном шутки плохи:

Он не любит, если блохи.

Эти две строчки остались в памяти и так часто повторялись вслух, что взрослые вышли, наконец, из терпения.

– Да оставьте вы вашего дурацкого Феофана в покое. Надоели.

Но однажды, когда два друга, после обеда, сидели в своем любимом, уютном уголке, на широчайшем кожаном диване в гостиной, Кира вдруг вытаращила глаза – черные бусинки – и спросила:

– А почему он не любит, если?..

– Не знаю. Такой уж он непонятный человек.

– А ты его видел?

– Каждый день вижу.

– Где?

– У нас дома.

– А я его видела?

– Всегда видишь.

– А теперь?

– И теперь.

Кира закусилла нижнюю губку. Потом спросила доверчивым шепотом:

– Скажи, может быть, ты сам и есть Феофан?

Дядя нагнулся совсем близко к ее маленькому ушку и еле слышно шепнул:

– Да, Кирочка. Это я – Феофан. Только «им» не надо

знать. Пусть это будет между нами тайна. Понимаешь?

Черные глаза девочки засияли от восторга.

– Да, да. Никому! Никогда. А ты мне позволишь звать тебя потихоньку Феофаном?

– Хорошо. Зови. Но только помни...

– О да! Мы потихоньку... От них секрет?

– Страшный секрет.

– Страшный?

– Да.

Новоявленный Феофан высоко поднял брови и низко опустил их.

– Ах, мой милый, собственный Феофан! Дай, я тебя крепко поцелую. Вот так.

Что за прелесть, когда между двумя друзьями, большим и маленьким, есть тайна, да еще и страшная. Чудо! Для всего света они были Аркадий Васильевич и Кира и лишь только наедине – Кира и Феофан.

Таких дружеских интимных делишек у них водилось много, и обоим им от них было удовольствие и радость. Точно жили они, совсем отгородившись от взрослых. Но самым увлекательным было то время, когда они научились говорить на языке черных пуделей!

Каждый день перед завтраком они ходили вдвоем гулять по аллеям и холмам того большого сквера, который разбит у подножия театра Трокадеро. На обратном пути заходили в

магазины. Иногда покупали на улице дешевые, но пресмешные парижские игрушки или воздушный шар.

Каждый раз, выходя на прогулку, они заставляли против ворот на мостовой старенькую зеленщицу. У нее была небольшая ручная тележка, нагруженная капустой, салатом, пучками моркови, свеклы и порея, связками петрушки. К тележке сбоку был обычно привязан большой лохматый черный пудель. Он яростно лаял, кидаясь на всех проходящих, после отдыхал, стоял, умильно щуря глаза, дрожа высунутым красным языком и часто дыша, а потом опять принимался лаять. Когда же зеленщица перевозила свою тележку с места на место, пудель влезал грудью в постромку и изо всех своих собачьих сил помогал хозяйке.

– Милый Феофан, – сказала однажды Кира, глядя на собаку. – Я догадалась, почему пудель так лает. Он голодный и просит покушать.

– Возможно. Давай, пойдем на кухню, посмотрим для него чего-нибудь, – согласился Феофан.

Нашли кусок вчерашнего пирога с мясом. Снесли на улицу и дали пуделю. Собака вмиг его проглотила и в знак благодарности залаяла отчаянно-весело.

Так у них с этого дня и повелось: идя на прогулку, непременно захватить с собою угощение для собаки. Старушка этому не препятствовала. Как-то даже сказала Кире:

– Приласкайте его, малютка. Он очень добрый и умный.

Кира погладила пуделя. Он запрыгал на цепи и завизжал

от восторга.

Случилось, что Мурманов был занят срочным делом и гулять с Кирой ему было некогда.

– Как же так, – протянула Кира надутым голосом, прижимаясь к дяде. – Как же так, Феофан? Ведь пудель на нас обидится.

– Не могу, никак не могу, Кирочка... Впрочем, ты, когда пойдешь гулять с горничной, так возьми на кухне какую-нибудь косточку и снеси ему. Кстати, и от меня поклонись.

– Мне одной неловко, без тебя, Феофан!

– Иди, иди, милая девочка... Я не могу оторваться от работы...

Через два часа, погуляв, Кира вернулась домой. Дядя окончил занятия и ждал ее.

– Ну, что, Кира? – спросил он. – Отдала косточку?

– Да, Феофан. Он был очень доволен.

– Что же он сказал?

– Он сказал... Знаешь, Феофан, он ничего не сказал.

– Ни слова?

– Ни слова.

– Как же это так? Странно.

– Правда, странно.

– Н-да. Удивительно. Что же он делал?

– Ничего. Только хвостом помахал.

– Ага! Хвостом? Да это же и есть, Кира, пуделиный разговор. Пудели только хвостом и разговаривают.

– Хвостом? Правда, Феофан?

– Истинная правда. Ну, покажи-ка, как он сделал хвостом?

Кира быстро прочертила в воздухе указательным пальцем три длинные линии.

– Так, так и так.

Феофан обрадовался и захохотал.

– Как же ты не поняла, Кирочка? Это значит: благодарю тебя, Кира.

– А потом он еще замахал. Так, так, так, так и так.

– Очень просто: передай от меня поклон Феофану.

– Ах, как прекрасно! Феофан, а я умею говорить по-пуделиному?

– Умеешь, Кирочка. «Они», конечно, не умеют, а мы с тобой будем свободно разговаривать.

– Да? В самом деле? Ужасно хорошо! Ну, вот, например, что я сейчас сказала?

Она с увлечением начертила в воздухе несколько невидимых линий.

– Очень ясно: «Феофан, принеси мне сегодня вечером шоколадок». Верно?

– Не совсем, Феофан. И эклерку.

– Ах, правда, ошибся. Шоколадок и пирожное эклер.

– Вот, это так. А теперь скажи ты что-нибудь.

– Изволь. Раз, два, три, четыре. Поняла?

– Поняла. Это значит: «будем всегда говорить по-пудели-

ному, а нас никто из «них» не поймет».

– Да. Ну, однако, пойдем завтракать, Кира, а то «они» рассердятся...

С тех пор и вошел у Феофана с Кирой в моду пуделиный язык. Оказалось, что на нем было говорить гораздо удобнее и приятнее, чем на человеческом, а главное, этот язык богаче, чем человеческое слово. На нем было возможно передавать вещи, совсем недоступные человеческим средствам.

Взрослые скоро обратили внимание на эти таинственные беззвучные переговоры.

Раз за обедом Ирина Львовна сказала в нос:

– Аркадий и Кира, что это вы все тычете пальцами в воздух? Что за новое дурацкое занятие?

Аркадий, под очками, широко и удивленно раскрыл глаза.

Кирочка же сказала, сделав губки трубочкой:

– Я ничего, мама, я так себе, играла только.

И она обменялась с Феофаном быстрым лукавым взглядом.

Тетя Женя добродушно рассмеялась.

– Я на днях возвращалась домой и вдруг вижу картину. Стоят они оба, Аркадий и Кира, перед собакой... Знаете, тут у зеленщицы есть такой черный пудель? Стоят и делают пальцами какие-то заклинания. Я подумала, уж не с ума ли они оба сошли, или, может быть, разговаривают на собачьем языке?

Но Кира возразила с усиленной наивностью и с упреком:

– Тетя Женя, разве же пудели разговаривают? Как тебе это в голову пришло?

И опять два мгновенных, искрящихся смехом взгляда.

– Аркадий, Аркадий, – вздохнула Ирина Львовна. – Со всем ты мне испортил вконец мою Киру. Что я с ней буду делать в Петербурге?

Твердый был характер у Ирины Львовны, а слово ее – крепче алмаза. Как порешила покинуть Париж поздней осенью, так и стала в начале октября собираться в дальнюю дорогу. Ни милое гостеприимство Мурмановых, ни уговоры Аркадия Васильевича, ни просьбы тети Жени, ни Кирочкины слезы не переломили ее сурового решения. Вышло даже так, что уехала она с Кирой на три дня раньше, чем сама назначила. Причиной этой спешки был все тот же удивительный пуделиный язык.

Приехала однажды к Мурмановым очень важная знакомая барыня, Анна Викентьевна (для нее нарочно были заказаны к обеду устрицы, лангусты, дичь и цветы. Она любила изысканный стол). Была эта дама очень, даже чрезвычайно полна (Кирочке все хотелось обойти ее кругом: сколько выйдет шагов, – но не осмелилась). На груди у нее не висела, а лежала, как на подушке, большая брошка из синей эмали с золотом. Когда Анна Викентьевна говорила, то брошка подпрыгивала у нее на груди, а говорила она много, быстро, громко, без передышки и других не слушала.

За обедом Кире было скучно: говорила дама все про взрослое, про неинтересное. Потом она обиделась: Феофан, против обыкновения, совсем не уделял ей внимания. Он не отводил глаз от Анны Викентьевны и только в такт ее речи то кивал, то покачивал, то потряхивал головой, выражая то удивление, то сочувствие, то согласие. А Кире уже давно не терпелось задать ему один очень важный и неотложный вопрос и, конечно, на пуделином языке. Поэтому, пользуясь редкими секундами, когда лицо Феофана случайно обращалось в ее сторону, Кира принималась быстро чертить пальцем ломаные линии, но из осторожности делала это в самом уменьшенном виде, на пространстве между носом и подбородком.

И вдруг, позабыв всякую сдержанность, она сказала громко, с огорчением и упреком:

– Да дядя же Аркадий! Я тебе все говорю, а ты все не видишь. Смотри! – И она проворно начертила: – Раз, два, три, четыре, пять.

– Оставь, Кирочка, – отмахнулся рукой Мурманов. – Потом когда-нибудь. Теперь я ничего не понимаю. И не время.

Кирочка потеряла душевное равновесие и точно с горы покатилась:

– Нет, время! И ты отлично понимаешь. Я тебя спрашиваю: почему у этой толстой тети на груди прицеплена синяя тарелочка? Чтобы ей суп не капал на платье? Да?

Все замолкли, опустив глаза на скатерть. Наступила ти-

шина. Наконец, Анна Викентьевна сказала необычайно нежным, но дрожащим голосом:

– Какая милая девочка! Какая острая и воспитанная! Она у вас далеко пойдет.

При этом лицо у нее было цвета темного кирпича.

Обед закончился не особенно весело, и после него дама очень скоро уехала. Ну, и попало же обоим – и дяде и племяннице – от Ирины Львовны за пуделиный язык! Дядя Аркадий был умный и хитрый: он все помалкивал, а Кира сорвалась и нагрубилась:

– И ничего я дурного не сделала. С подвязанной тарелкой вовсе удобнее, чем с салфеткой, а дама твоя глупая, толстая и противная. Вот тебе!

На это последовал краткий военный приговор:

– В угол носом. Марш!

И рука мамы, с вытянутым пальцем, указала место наказания.

– И пойду! – отрезала Кира, мотнув стриженной головенкой. – А твоя дама – дура!

В гостиной, между шкафом и любимым кожаным диваном, где стояла «в угол носом» Кира, было полутемно, свет проникал туда из столовой. Неразборчиво доносились до Кире из тетиной комнаты голоса старших: сердитый мамин, спокойный дяди Аркадия, лениво-ласковый тети Жени. Потом взрослые затихли. Чьи-то осторожные шаги послышались в гостиной. Подошел дядя Аркадий и молча стал рядом

с Кирой, которая уже успела наплакаться.

– Что, Феофан? – прошептала девочка.

– Да вот, пришел постоять с тобою в углу носом. Обое мы виноваты: и я и ты.

Кира глубоко, в несколько раз, вздохнула, как всегда вздыхают дети после слез.

– Мама очень сердитая?

– Нет, ничего. Отошла. Только, вместо субботы, собирается ехать завтра.

Девочка просунула ручку под дядин локоть и прижалась к нему.

– Мне жалко тебя, Феофан. Мне тебя очень жалко. Давай в последний раз поговорим по-пуделиному. Ну, смотри, что я написала на стенке?

– Знаю. «Феофан, ты обо мне будешь всегда помнить?»

– Верно. Теперь ты пиши...

– Зачем писать? Ты и так знаешь, что никогда не забуду.

– Ну, будет вам, дети, шушукаться, – слышался сзади спокойный голос Кириной мамы. – Идите на воздух, прогуляйтесь немного. Завтра рано вставать.

Так и уехала Кира, славная девочка, буйная голова, доброе сердце, знаток пуделиного языка. Дядя Аркадий очень был огорчен разлукой, но держался крепко, как настоящий мужчина. Только осунулся и побледнел немного.

Спустя некоторое время встретился он на улице с одним своим приятелем. Встречи их в громадном Париже бы-

ли редки, но радостны для обоих. Как и всегда бывало в этих случаях, зашли они в испанскую бodega (род маленького трактира) и спросили себе по рюмке хереса. И еще у них было привычное обыкновение: подготавливать друг для друга редкие строки из неисчерпаемого Пушкина, которого они оба любили всей душой.

Приятель Мурманова читал торжественным голосом:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят:
Стамбул заснул перед бедой.

Но тут и обожаемый Пушкин не помог, и душевный разговор не вязался.

Уже настало время проститься. Замолчали. И вдруг Мурманов голосом, проникнутым глубокой печалью, произнес:
– Бедный я, одинокий я Феофан!

Приятель поднял голову. В голубых глазах Мурманова, под стеклами, дрожали слезы.

– Аркадий Васильевич, милый, что с вами?

Вот тут-то Феофан и рассказал мне всю эту историю, которую, в неполном и несовершенном виде, передаю здесь.

Леонид Андреев

Кусака

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, – ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, переметываясь со стороны на сторону, натываясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала уши-бы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, гряз-

ную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

– Жучка! – позвал он ее именем, общим всем собакам. – Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

– Да пойдя, дура! Ей-богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

– У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злоб-

но ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

– Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвуч-

но подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

– Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: – Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-юу-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе растилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее

из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

– А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, – словно это был не хлеб, а камень, – и скоро все привыкли к Кусачке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

– Кусачка, пойдй ко мне! – звала она к себе. – Ну, хорошая, ну, милая, пойдй! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойдй же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

– Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце по-

ступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

– Мама, дети! Смотрите: я ласкаю Кусаку! – закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и

жалким.

– Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! – кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: – Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

– Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

– Как же нам быть с Кусакой? – в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

– Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? – сказала мать и добавила: – А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

– Жа-а-лко, – протянула Леля.

– Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

– Жа-а-лко, – повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

– Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что – дворняжка!

– Жа-а-лко, – повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели везы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было

говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

– Ты здесь, моя бедная Кусачка, – сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному – в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. – Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

– Дайте копеечку, – гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

– А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

– Скучно, Кусака! – тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, грязная – вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака

жалобно и громко завывла. Звонящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

1901

Михаил Пришвин

Рассказы о животных

Нерль

I

Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие совершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дожидалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.

Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому чистый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой – две копейки, третья сучка была без

копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома; пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темным, и вообще был тяжел и дубоват. *Дубец* – мелькнуло слово у меня в голове, я поймал его и вспомнил охоты свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло не даром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось – неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.

Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.

Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной реке. Она такая извилистая, что местами от излучины до излучины через разделяющий их берег можно было веслом достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется, очень недалеко, но вдруг река завертывает в проти-

воположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне – все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу. Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера. Только уже когда садилось солнце, мне была милость: река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстро несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной струе поклоны провожающих меня тростинки. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.

Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.

II

Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде всего то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутыистой, но глупой.

Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и бесеую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок малень-

ких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются. У некоторых даже есть свое «ура» при атаке, есть писк обиды у неудачников, а у овладевших большими сосцами причмокивание удовольствия – все есть, как в борьбе людей между собой за хлеб насущный. Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достается сильным мускулами, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.

Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговицы, и, верно, она никогда не наедается.

В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги: сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая

изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жалость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединяется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.

– Не бросайтесь жалостью, – говорил я, – поберегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.

Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:

– Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.

Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:

– Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире...

Я указал вниз на борьбу за сосцы:

– Там не боятся гибели, там смерть принимают как жалость природы.

Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Васильевне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постанутся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.

Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время голодных постов революции.

Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока, наконец, не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, приправленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим, возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.

Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насильем, в глубине нас продолжается, и, благодаря этой неумности мысли, появляется вдруг как бы чудом вне нас повод для продолжения спора и заключения.

Мы говорили о полезном значении постов для здоровья, а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и, наконец, вся она, та самая,

слабая изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Сначала, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливаясь, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жалости, и все обошлось само собой, сучка сыта.

– Вот, дорогая Анна Васильевна, – сказал я, торжествуя победу, – вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе этих лет за кусок хлеба вы завоевали себе неожиданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным, что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызвал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!

III

В другой раз, вечером того же самого дня, когда наши щенки пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери. Мы очень обрадо-

вались и, не решаясь только за одно это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называть ее Анной Васильевной, которую очень любили. Через несколько дней, когда наша новая маленькая Анна Васильевна очень поправилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала наступать ножками, и появилась у нее новая особенность: она стала бродить по гнезду, совершая путешествие в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собою за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с женой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо дня в день, погружаясь в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения: ведь тоже почему-то приходилось много бродить.

Пределом путешествий Анны Васильевны было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любимся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизует губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Ва-

сильевна с высоты барьера взгляделась в нее, лакающую бульон, и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.

В глазах ее: «Не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».

Я говорю ей:

– Пиль!

Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «Не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается лакать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах рискованное движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.

Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака, с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна, стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро

оказывается ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит прина-лечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.

Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время, случилось, пробудился Дубец и, услышав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг – здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул – очень понравилось.

Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул здоровенную башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак – в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому

что он такой громадный и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми припали к нему обе сучки с копейкой на лысинке и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешествовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, уткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший: «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился бежать по примеру ее, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.

1927

Журка

Раз было у нас – поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую – проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

– Умница! – сказала моя жена и спросила меня:

– А сколько он может съесть их? Десять может?

– Десять, – говорю, – может.

– А ежели двадцать?

– Двадцать, – говорю, – едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить – и Журка с ней, она в огород – и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней, и за водой.

Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уже скучно, без него никуда. Но только ежели случится – нет его, крикнет только одно: «Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница!

Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца, и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг по-

летел. Жена ахнула – и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может.

И в слезы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим – Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

– Фру-фру! – кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

– Фру-фру!

И такой умница! Как только услышал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями – и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками.

В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять – проглотил, дали десять – проглотил, двадцать и тридцать, – да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

Луговка

Летят по весне журавли.

Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежит ввиду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки – все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и черные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», – подумал я.

– Чьи вы, чьи вы? – кричит чибис.

– Я-то, – отвечаю, – свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашел в теплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и – в сторону плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу – сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле пять яиц. Вот ведь как у них: невитые гнезда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, – чисто, как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул.

Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу – гнездо и пять яиц.

Жена говорит:

– Вот бы поглядеть!

– погоди, – отвечаю, – будем овес сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овес, жена боронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

– Ну вот, – говорю, – любопытная, смотри. Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, – нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку садить увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегаёт за канавой по лугу, мы не глядим на нее: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим – во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка-баловник гонит по лугу пятерых чибисенков, серенькие, длинноногие, и уже с хохолками, и все как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

– Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает – гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, – думаю, – схватит их Кадошка!» А чибисы – по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то!

Чик-чик-чик ножками – и на той стороне.

То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подспели и отозвали Кадошку.

Изобретатель

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми.

После из серых один вышел – красавец, разноцветный селезень, и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высидывать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу – Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих – в огород за червями.

– Свись-свись! – утята в пруду.

– Кряк-кряк! – отвечает им утка.

– Свись-свись! – утята в огороде.

– Квох-квох! – отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» – это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» – значит: «вы – утки, вы – кряквы, скорей плывите!»

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

– Свои к своим!

И бегут.

– Плывайте, плывите!

И плывут.

– Квох-квох! – упирается важная птица-курица на берегу.

Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

– Дрянь-дрянь! – отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами, ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы слышали отдельно голос одного утенка.

– Слышите? – спросил я своих ребят.

Они прислушались.

– Слышим! – закричали.

И пошли в кухню.

Там оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила?

Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы – в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:

– Он что-то придумал.

– Он изобретатель! – крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои, и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

– Кряк-кряк! – проговорила Дуся.

– Свись-свись! – ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

– Кряк-кряк! – повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда – сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу.

И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края – и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на ведь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло, и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валяются вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали «Изобретателем».

Ребята и утята

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих утят из лесу, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке, в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел.

– Что вы будете делать с утятами? – строго спросил я ребят.

Они струсили и ответили:

– Пустим.

– Вот то-то «пустим»! – сказал я очень сердито. – Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

– А вон сидит! – хором ответили ребята. И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно

сидела с раскрытым от волнения ртом.

– Живо, – приказал я ребятам, – идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю.

За ней побежали утята – пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

– Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

– Что вы смеетесь, глупыши? – сказал я ребятам. – Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро?

Вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»!

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:

– До свиданья, утята!

Еж

Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль.

Я прикоснулся к нему кончиком сапога – он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

– А, ты так со мной! – сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много. Я слышал – ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу, и – здравствуйте! – ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал про лампу, что это луна вошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облако, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежику: он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел на кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как еж мелькнул под кроватью.

А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати – и прямо к газете; завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была, как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда: в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу – луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

– Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

– Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды в тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек поплескивает.

– Ну, иди, иди... – говорю. – Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода...

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро.

Он двинется – и я двину, да так и сошлись.

– Пей, – говорю окончательно.

Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

– Хороший ты малый, хороший!

Напился еж, я говорю:

– Давай спать.

Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа.

Зажигаю свечу – и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился.

Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит – на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол, и то молока ему налью в блюдечко – выпьет, то булочки дам – съест.

Предательская колбаса

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провел неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик.

Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром – только собрался было идти в город, в милицию – являются мои дети с Яриком: он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня.

– Так не годится, – сказал я строгим голосом, – это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес.

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик – золотистый, гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплюснутая черепаха.

– Не будешь больше ходить к Рябчику? – спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

– Никогда не буду, добрый хозяин.

– Перестань лапиться, – сказал я строго. И простил.

Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

– Ярик у нас.

– Так ничего же ему не давайте, – велел я, – пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книжку. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный выход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из лесу, прият-

но шумел. Я читал и слушал музыку леса. Но вдруг мне что-то показалось в уголке глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван.

Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении.

Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

– Верно, Ярик уже не придет, пора ужинать.

Слово «ужинать» Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик, – из-под дивана ни звука. Раздвигаю

колени, смотрю вниз – нет ли там на полу рыжего носа, – нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю, – нет, хвост не молотит.

Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже и колбасой, ведь он так любит ее; если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек ее висел бы на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем.

И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку, и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком,

привязываю нитку за носик и тихонько спускаю вниз между колен. Язык показался, я потянул за нитку, язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять – теперь показался нос, потом лапы. Больше нечего в прятки играть: я вижу его, и он меня видит.

Поднимаю выше кусочек. Ярик поднимается на задние лапы, идет за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырех по-собачьи, опять теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:
– Пожалуйста, молодой человек.

Сват

Подарили мне небольшую собачку редкостной породы – спаниель, величиной с два больших кота, а уши до самой земли. Когда ест – уши мокнут, когда нюхает землю – передними лапами наступает на свои уши.

«Ухан» следовало бы назвать его по-русски, но у него кличка была английская – Джимми. Не нравилась мне чужая кличка, такая незвучная: изволь орать «Джимми», когда дрессируемый щенок помчится за котом или зайцем. Мы сначала превратили Джимми в арабского Джинна, а когда этот Джинн засел верхом на утку нашу и начал ее жать, то мы все разом закричали на него не Джинн, а Жим, в смысле «не жми».

И так оно и пошло бы, наверное, Жим, но случилось однажды, наш спаниель засел верхом на Хромку, нашу охотничью ручную уточку, без того уже убогую, хроменькую.

– Жим, перестань! Жим, не жми! – закричали мы ему. Но он не слушал и продолжал давить Хромку. В это время за калиткой на улице прохожий звучно крикнул кому-то:

– Сват!

И, услышав этого «свата», Жим почему-то бросил утку.

– Вот кличка-то, – сказал я. – И звучная, и милая. Давайте попробуем Жима звать Сватом.

В это время по улице люди из деревни шли на базар. Не

успел я это сказать своим, как послышался за калиткой отчетливый разговор каких-то прохожих.

– Да он мне, милый, не сват, не брат, – сказал один. А другой ему сочувственно:

– И не сват, и не кум.

И пошло, как под музыку:

Не тесть, и не зять,

И не шурин, не свояк.

После некоторого молчания и уже издали, чуть слышно:

– Никакая не родня, а просто седьмая вода на киселе.

На другой день случилось: Жим разогнал нашего кота и сам ударился за ним через подворотню на улицу. Я выбежал в калитку и во все горло закричал:

– Сват!

Тут соседи мои и мальчишки-голубятники удивились, кого это я зову сватом.

А кот в это время, сделав круг и не успев вскочить где-нибудь на дерево, бежал обратно, и за ним, чуть ли не на хвосте кошачьем, мчался Сват. Тогда по лицу моему, по всему удовлетворенному виду соседи и все, кто был на улице, поняли, кто был моим сватом. И сколько тут было смеху, сколько звонкой радости! Старый и малый – все орали вслед бегущему коту и собачке: кто орал «Сват», кто – «Кум», кто – «Тесть», кто – «Зять», кто – «Шурин», кто – «Деверь», кто

– «Свояк».

Кот же, конечно, нырнул в подворотню и, чувствуя у самого хвоста своего морду Свата, махнул вверх на машину. А Сват, конечно, за ним тоже на машину. Васька, прижатый к окну шофера, вглядывается холодным, расчетливым глазом и медленно заносит назад правую лапу – точно так же, как бойцы заносят назад руку с гранатой, чтобы с силой бросить вперед. И когда нос Свата был возле кота, граната ударила по носу и с шипом разорвалась, а я, сочувствуя коту, сказал:
– Я тебе не сват, не брат.

И столько раз надавал кот лапой Свату, что я успел принести фотоаппарат, снять их и докончить им присказку:

Не сват, не брат,
Не тесть, не кум,
Не зять, не свояк,
И не шурин, и никакая не родня,
Седьмая вода на киселе!

Филин

Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда показаться – до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.

Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породы спаниель, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал он вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.

– Брось! – приказал я. – Это еж.

Так у меня собачка приучена: скажу «еж», и Сват бросает. Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.

«Наверно, еж», – подумал я.

И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый, и огромных размеров, и с огромными кошачьими глазами.

Филин на свету – это огромное событие в птичьем мире. Бывало, в детстве приходилось попадать в темную комнату – чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся черта. Конечно, это глупости, и никакого черта нет для человека. Но у птиц, по-моему, черт есть – это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то

это было для птиц все равно, как если бы у вас на свету черт показался.

Единственная ворона была, пролетала, когда филин, согнувшись, в ужасе перебежал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:

– Кра!

До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» – на все случаи, и в каждом случае это словечко, всего только в три буквы, благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули:

– Чер-р-р-р-рт!

Страшное слово прежде всего услышали ближайшие вороны и, услышав, повторили, и более отдаленные, услышав, тоже повторили, и так в один миг несметная стая, целая туча ворон с криком: «Черт!» – прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка до нижнего.

Услышав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон придетели галки черные с белыми глазами и сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и все новые и новые прибывали: синички, гаечки, московки, трясогузки, пеночки, зорянки и разные подкрапивнички.

В это время Сват, не понимая, что филин давно уже вы-

скочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки.

Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово:

– Кра!

В этом случае это означало просто:

– Дурак!

И наконец, когда Сват причуял свежий след и вылетел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:

– Кра!

А по-ихнему это значило:

– Правильно!

И когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:

– Кра!

И это теперь значило:

– Брать!

Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, москвички, и все эти птицы помчались темной тучей за филином, и все орали одно только:

– Брать, брать, брать!

Я забыл сказать, что, когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах.

Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц.

– Правильно, правильно! – кричали ему некоторые вороны.

И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю.

Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту.

И ничего не могу сказать, тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы доконали филина, и Сват помогал им в расправе со злодеем.

Что не видал, то не видал, а врать не хочу.

Пиковая дама

Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубочу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя и в борьбе с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую заботу при защите детей, за ее клюв-пику на голове Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высидит и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году случилось, мы недосмотрели, выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного.

Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять? Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, недоглядев, ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов и надо все довести до конца, – так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением:

«Да цыплята ли это?»

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный...

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это грач. С отломленным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить.

А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках – хорош и я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и только завернул за овин, гляжу – передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и в ужасе, что она выклюнет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать. И как потом радовался – подумать только, я радовался! – что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными светло-сумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать, я был без оружия и готовился на несколько часов отдаться наслаждению любезнейшей для охотника музыкой.

Но вдруг где-то около деревни собака скололась, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (мастью он желто-пегий в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаку, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки.

«Лучше умру!» – подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пяту, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидел, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал, не помня себя, чашей и обдирал до крови спину. Так

заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это? Нет! С человеком так могло случиться, но у зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из леса на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, увидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

– Ну и дела!

– Да какие же такие дела?

– Ой-ой-ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

– Ну и дела! Ну и дела!

И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из леса, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врасстяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца, а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика...

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица – и прямо в глаза ему. И он поворачивается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину

– и клюет, и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.

Лимон

В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услышав о подарке, замахал рукой.

Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:

– Какой же ты хотел поднести мне подарок?

– Я хотел бы, – ответил китаец, – поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.

Услышав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний, и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услышав о новой собачке.

– Молчи! – сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.

Но было уже поздно: Елена Васильевна услышала слова о самой маленькой во всем свете собачке.

– Можно посмотреть? – спросила она, появляясь в конторе.

– Собак здесь! – ответил китаец.

– Приведи.

– Он здесь! – повторил китаец. – Не надо совсем приведи.

И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазищи большие, черные, блестящие и навывкате, как у муравья.

– Что за прелесть! – воскликнула Елена Васильевна.

– Возьми его! – сказал счастливый похвалой китаец.

И передал свой подарок хозяйке.

Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, влаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили.

Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно взглядываясь в нового сторожа своей жены:

– Визгу много, шерсти мало!

Услышав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую.

Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.

– Нашла коса на камень! – сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. – Визгу много, шерсти мало! – повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: – Ну-ка, Мишка, пыхни в него!

Мишка запел еще громче и хотел было пыхнуть, но быстро, заметив, что враг от песни его даже не моргнул, метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель как ни в чем не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.

– А как его звать? – спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.

Китаец ответил просто:

– Лимон.

Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, желтая, и Лимон – кличка ей самая подходящая.

Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей.

В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую.

Лимон возненавидел меня, и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с коленей хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.

Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам воры или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом. И много такого случилось почти ежедневно. Жизнь

становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.

Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошел в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку.

– Ну, брат, – сказал я Лимону, – хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.

И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, я сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел: в глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные.

Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: «А что, если от страха и унижения у забияки сделается разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне?»

– Лимон, – стал я его ласково успокаивать, – не сердись, Лимон, на меня, будем друзьями.

И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами.

За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды.

– Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? – спросила Елена Васильевна.

– Ничего, – ответил я спокойно. – Наверно, он начал при-
выкать – и ведь пора!

Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.

– Все забияки такие, – сказал он. – И наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу – и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало!

Голубая стрекоза

В ту первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитаря и скоро попал в сражение на западе в Августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня совершалось.

Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью: то падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала, я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куропадок, летающих от батареи к батарее.

– Вы с ума сошли, – сказал мне строгий голос из-под земли.

Я глянул и увидел голову Максима Максимовича: бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие, и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне:

– Да как же вам, писатель вы такой-рассякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустьяками?

– Что же мне делать? – спросил я, очень обрадованный его решительным тоном.

– Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых...

Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал наконец себя настоящим человеком, и мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель.

В это время один умирающий шептал мне:

– Вот бы водицы!..

Я по первому слову раненого побежал за водой.

Но он не пил и повторял мне:

– Водицы, водицы, ручья!..

С изумлением поглядел я на него и вдруг все понял: это был почти мальчик, с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души.

Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья.

В косых лучах вечернего солнца особенным, зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретики хвощей, листки телореза, водяных лилий, над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку.

Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу.

И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза.

– Спасибо, – прошептал он.

Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал «спасибо» и снова закрыл глаза.

Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились, возникла новая борьба, и я услышал:

– А что, она еще летает?

Голубая стрекоза еще кружилась.

– Летает, – ответил я, – и еще как!

Он опять улыбнулся и впал в забытие.

Между тем мало-помалу смеркалось, и я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает:

– Все еще летает?

– Летает, – сказал я, не глядя, не думая.

– Почему же я не вижу? – спросил он, с трудом открывая глаза.

Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут: глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел.

Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза.

Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отраже-

ние летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода – эти глаза земли – остается светлой, когда и стемнеет: эти глаза как будто видят во тьме.

– Летает, летает! – воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза.

И я ему показал отражение. И он улыбнулся.

Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого, – по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогли песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.

1941

Кладовая солнца

Сказка-быль

I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был

весь в золотых веснушках, а носик его чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла

печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лоханки. У него есть фуганок, ладило длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому – шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому – кадушечку солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками – домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство, и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда Мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

– Вот еще!

– Да чего ты хорохоришься? – возражает сестра.

– Вот еще! – сердится брат. – Ты, Настя, сама хорохоришься.

– Нет, это ты!

– Вот еще!

Так, помучив строптивного брата, Настя оглаживает его по затылку, и, как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

– Давай-ка вместе полоть, – скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать.

Да, очень, очень трудно было всем во время Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, они жили хорошо. И мы опять можем твердо сказать: во всем селе ни у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверно, это горе о родителях так тесно соединило сирот.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, *сладкая*, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горш-

ках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, то пьют чай и с одной клюквой. Мы это сами пробовали – и ничего, пить можно: кислое заменяет сладкое и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы, какой морс! И еще в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

– Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

– Видишь, Дмитрий Павлович, – отвечал отец, – в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад – ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку – и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на се-

вер глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» – на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей. Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

– Зачем тебе полотенце? – спросил Митраша.

– А как же, – ответила Настя. – Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

– За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

– А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

– Ты это помнишь, – сказал Митраша сестре, – как отец

нам говорил о клюкве, что есть палестинка³⁶ в лесу...

– Помню, – ответила Настя, – о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань³⁷.

– Вот там, возле елани, и есть палестинка, – сказал Митраша. – Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите – там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал!

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок. «Может быть, еще и заблудимся, – подумала она. – Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней есть Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

– Ну, так что это за палестинка? – спросила Настя.

³⁶ Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

³⁷ Елань – топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду.

– Так ты ничего не слыхала?! – схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту *приболотищу* с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотищу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях – оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются *боринами*. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой

тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

– Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.

– Они хорошо пахнут, попробуй, сорви цветочек волчьего лыка, – сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

– А почему это лыко называется волчьим? – спросила она.

– Отец говорил, – ответил брат, – волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

– А разве тут есть еще волки?

– Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

– Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

– Отец говорил: он живет теперь на Сухой речке в завалах.

– Нас с тобой он не тронет?

– Пусть попробует, – ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя с Митрашей, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

– Тэк-тэк, – чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

– Шварк-шварк! – дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

– Кряк-кряк! – дикая утка Кряква на озерке.

– Гу-гу-гу, – красная птичка Снегирь на березе. Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплюснутая шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде

как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чужфывает. Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки, и знаем их, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

– Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тогда они тоже все подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрикают в ответ, и зачужфывают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами этими ответить нам:

– Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.

– Ты слышишь? – спросил Митраша.

– Как же не слышать! – ответила Настя. – Давно слышу, и как-то страшно.

– Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

– А зачем так?

– Отец говорил, он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

– А это что ухаает?

– Отец говорил: это ухаает выпь, бык водяной.

– И чего он ухает?

– Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахла корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

«Победа, победа!»

– Что это? – спросила обрадованная Настя.

– Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахнул на нее резкий, одуряющий запах багульника. Маленькой и слабой почувствовала себя Золотая Курочка на высоких ножках перед этой какой-то неминуемой силой гибели.

– Что это, Митраша, – спросила Настенька, ежась, – так страшно воеет вдали?

– Отец говорил, – ответил Митраша, – это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

– Так отчего же он так страшно воет теперь?

– Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

– Мы куда же пойдем? – спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

– Мы пойдем на север по этой тропе.

– Нет, – ответила Настя, – мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место – Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, – значит, там и клюква растет.

– Много ты понимаешь! – оборвал ее охотник. – Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собою корнями за питание, сучьями – за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстая стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернутая на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услышав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину, и могучие стволы соснового бора стали как зажженные

свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым ледком.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

– Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф» скорее всего значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как

две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующе-

го почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стережущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверно, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

– Кра!

Это значило у нее:

– Выручай!

– Кра! – ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

– Кар-кер-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось как холодная синяя

стрелка и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, елка нажала на сосну и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, – прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

– Нам надо по этой на север.

– Это не тропа! – ответила Настя.

– Вот еще! – рассердился Митраша. – Люди шли, – значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

– Кра! – крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

– Смотри, – сказала она, – какая плотная моя тропа, тут *все* люди ходят. Неужели мы умней всех?

– Пусть ходят все люди, – решительно ответил упрямый

Мужичок в мешочке. – Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

– Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, – сказала Настя. – И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

– Ну ладно, – резко повернул Митраша. – Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

– Кра! – закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силой долбанул его.

Как ошпаренный метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь *плотно* надвинулась и закрыла все солнце со всеми его живительными лучами. Злой ветер *очень резко* рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, за-

выли, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и так же, в тон деревьям, жалобно завывала.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належающего подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка и, услышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось – он никогда не умрет.

– Сколько тебе лет, Антипыч? – спрашивали мы. – Восемьдесят?

– Мало, – отвечал он.

– Сто?

– Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

– Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде: сколько же тебе лет?

– По правде, – отвечал старик, – я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

– Ты, Антипыч, старше нас, – говорили мы, – и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

– Знаю, – усмехался Антипыч.

– Ну, скажи!

– Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

– Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

– Деточки, вы, – сказал он, – не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! – позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть... Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит и лапами на плечи – и чмок, и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

– Ну, будет, будет, – сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

– Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

– То-то, ребята, – сказал Антипыч. – Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпор-

ках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком; и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иванчай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случилось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы были по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями *за свою* свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно бо-язливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждого ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней – молодые переряжки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, – огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону, и там тоже...

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услышав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой – половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или поспнут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в ста-

до, и резал овец, и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось ворваться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завyli деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, – это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель.

Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяйина, воет, не зная, кому же теперь, после него, ей послужить.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой – воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, дерево, собака – друг человека, или волк – злейший враг его, – лишь бы выли. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек – это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим ли-

цом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услышав эту ненавистную ему собачью молитву о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, помолившись Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнувшей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная – решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?..

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака *скололась*.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги с высокой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе ве-

ревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шею она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина. Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежачему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение –

трудиться, надрывать, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под во-

дой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достается человеку от солнца в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит, и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше

старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь – вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах. Вдруг над головой, совсем близко, показывается головка с хохолком, и встревоженный на гнезде чибис с круглыми черными крыльями и белыми подкрыльями резко кричит:

– Чьи вы, чьи вы?

– Жив, жив! – как будто отвечая чибису, кричит большой кулик Кроншнеп, птица серая, с большим кривым клювом.

И черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, обле-

тая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в этом основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

– Дрон-тон! – крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

– Дрон-тон! – ответила издали на гнезде ворон-самка. И это значило у нее:

– Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, – что ему было трусить, если под его ногами была тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, – значит, и он, Митраша, мог по ней смело идти. И, услышав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллежкой выростала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

– Чьи вы? – закричал в это время чибис.

– Жив, жив! – ответил кулик.

– Дрон-тон! – еще уверенней крикнул ворон. И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус – неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду поворачивать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать – виднеется там, за поляной?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну...

– Эх вы! – бывало, говорил нам Антипыч. – Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

– А то как же? – спрашивали мы.

– Ходили бы, – отвечал он, – голенькие и разутые.

– Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным: обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребяташки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только недоговаривал: «Не зная броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не зная броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой поляне, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водичка, прикрытая белыми прекрасными водяными лилиями, купавами. Вот за то эта елань называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все

глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческого.

– Перескочу, – сказал он. И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, – пропадать так уж пропадать, – на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал, что он плотно схвачен со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз, он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой. Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

– Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца бы-

ли только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде:

– Дри-ти-ти!

Другие:

– Дра-та-та!

– Дрон-тон! – крикнул ворон сверху.

И, мгновенно остановив шумный помах своих крыльев, резко бросил себя вниз и опять раскрыл крылья почти над самой головой человечка.

Маленький человек не решился даже показать ружье черному вестнику своей гибели.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками-прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень

долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, – та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же и брусника, кроваво-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место, кажется, кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовывать, и тянешь вместе с одной ягодиной зеленой ниточку со многими клюквинками. Захочешь – и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кроваво-красных ягод.

То ли что клюква – ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле полной корзины. А

то бывает, одна женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом – не видит ли кто, – приляжет к земле на мокрое болото и ползает и уж не видит, что к ней ползет другая, не похожая вовсе даже и на человека. Так встретятся одна с другой – и ну цапаться!

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красенькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она сыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в тяжелом болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ошупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения от жадности: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, ей казалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она

бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями – там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и самого-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета? На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на вы-

соких ногах, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

– Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пере-сказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях восточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости, к сестре, любящей и забывающей брата от жадности. Ты бы, ворон, сказал им...

– Дрон-тон! – крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

– Слышу, – тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха, – только успевай, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло в болото.

– Дрон-тон! – крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны –

покажется, он похож на быка, посмотреть с другой – лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего – ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громада. Но как понять, что на осиночной корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку, как на всякую ползущую тварь.

Ничего не видя, кроме клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню, еле передвигая за собою большую корзину, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ногах.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинается вечереть, и воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще

сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, огромная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову...

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные, длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно

и крикнула ей:

– Муравка, Муравка, я дам тебе хлеба!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб.

Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

– Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

X

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое,

красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром – «победа», а вроде как бы:

– Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завывала.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушавшись, ямщик нам сказал:

– Беда!

Мы и сами что-то услышали.

– Что это?

– Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была там беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

– Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тьякала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла – лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тьякает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревушую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда

долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услышала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тьявкает лисица.

Так вот одновременно сошлось: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправилась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливи-сто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила

охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услышав приближение зайца, разделились на две партии: одни остались при маленьком человеке и кричали:

– Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

– Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, – какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

– Дри-ти-ти! – кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человеку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не

доходя маленького человека, он остановился и взбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

– Дри-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои *скидки*, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, – в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков – в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так, чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки – опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит – лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло в этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться, – заяц, услышав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха», – и, ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежачему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были как два человека: один – Антипыч с разными лицами и другой человек – это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», – подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь – весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в за-

воду, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало; если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать стало больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня – ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое – и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи – от слова травить, и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие

губы маленького человека стали наливать кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

– Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

– Ну, ну! – сказал Антипыч. – Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасти! Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и пособачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра и человека, и его друга – собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

– Затравушка, милая Затравушка! – ласкал он ее сладким

ГОЛОСОМ...

А сам думал: «Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

– Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал: «Ползи, только ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человеку, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил

собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

– Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже немного досказать о всех собы-

тиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долг был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка – гончая собака, и дело ее – гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца – это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом.

Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились... Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и, когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и скорее всего заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны – глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас верили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних

деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, – на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка на охотника, говорили:

– А вот дразнили: «Мужичок в мешочке»!

– Был мужичок, – отвечали другие, – да сплыл, кто смел, тот два съел: не мужичок, а герой.

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке» правда стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел – высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы – разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего – торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот

какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

1945

Борис Житков

Рассказы о животных

Галка

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела: где колечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:

– Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

– Ничего я не брал, – ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала.

Бабушка услышала.

– Что у вас тут? – говорит. – Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду.

Бросились все искать очки – нет очков.

– Только что на стол их положила, – плачет бабушка. – Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?

И закричала на мальчика:

– Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит – а над кры-

шей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся – да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

– Говори, где мои очки!

– На крыше! – сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко. А потом достал стеклышек, а потом разных денежек много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра – колечку и сказала брату:

– Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.

И помирилась с братом.

Бабушка сказала:

– Это все они, галки да сороки. Что блестит, все тащат.

Как слон спас хозяина от тигра

У индусов есть ручные слоны. Один индус пошел со слонем в лес по дрова.

Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона.

Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел. Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил. Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой. А слон загнул хобот крючком, чтоб поднять хозяина на спину. Хозяин подумал: «Сяду ему на шею – так мне еще удобней будет им править».

Он уселся на слона и стал веткой хлестать слона по ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился.

Хозяин поднял ветку, чтобы изо всей силы ударить слона, но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить на спину.

Но он попал лапами на дрова, дрова посыпались. Тигр хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперек живота, сдавил, как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами. А слон уж поднял его вверх, потом ударил оземь и стал топтать ногами.

А ноги у слона – как столбы. И слон растоптал тигра в

лепешку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал:

– Какой я глупый, что бил слона! А он мне жизнь спас.

Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя, и весь отдал слону.

Как я ловил человечков

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: желтая и на ней два черных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме – медное рулевое колесо. Снизу под кормой – руль. И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

– Вот это уж не проси. Не то играть – трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать, – не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка:

– Дай честное слово, что не прикоснешься. А то лучше спрячу-ка от греха. – И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

– Честное-расчестное, бабушка. – И схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходика.

Я все смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше

видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверно, в нем живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, подглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум – как мыши: юрк в каюту. Вниз – и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я спрятался за дверь и глядел в щелку. А они хитрые, человечки проклятые, знают, что я подглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

– Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут в такую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

– Чего ты все ворочаешься?

– А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. – Это я наврал: дома ночью темно наглухо.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но все же было видно, как блеснул пароходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и ма-

ленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне все стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился – шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на парходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щелочку. Ух ты! Конфетища! Для них это – как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики – маленькие-маленькие, но совсем всамделишные – и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы все вертко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет – ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а все равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на парходике на палубе малюсенький настоящий топорик, ост-

ренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, пока бабушка в кухне возилась, раз-два – на стол ногами и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затер, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днем я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик! Леденец как был – на месте. Ну да! Дураки они днем братья за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул – леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел – топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось – все подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какою-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было.

Чуть только крошек осталось. Ну понятно, им хлеба-то не

особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них в парходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днем там сидят рядком и тихонько шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я все время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему парходоиду. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот я решил непременно взять парходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой таскала, во все гости. Все к каким-то старухам. Сиди – и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу – бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух – чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натер себе и лоб и щеки – всю морду, одним словом. Не жалея. И тихонько прилег на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

– Боря, Боряшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

– Что это ты лег?

– Голова болит.

Она тронула лоб.

– Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору.

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и все приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернется? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был, в рубаше. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил ихний пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются.

Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтоб не выскочи-

ли человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано! Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать – иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу дать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он ползет, а я его – хлоп! – и захопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове – схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу и туда в середку рукой – прихлопнуть. Хоть один да попадетсЯ. Только надо сразу: они уж там небось приготовились – откроешь, а человечки прыск все в стороны.

Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутрь рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. И под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Все криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало. Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.
Слышу ключ в дверях.

– Бабушка! – под одеялом шептал я. – Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

– Да чего ты ревешь да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она еще не видала парходика.

Мангуста

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлона. Я хотел скорее бежать на берег, скорее найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек (тамошние люди все черные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу: у черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

– Сколько?

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевел дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просу-

нул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу – готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с коготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно – это она нарочно так – играет. А другая забилась в угол клетки и смотрит искоса черным, блестящим глазом.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста – юрк! – и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и кричала: кррык! кррык! – как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки – и уже в рукаве. Я поднял руку – и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крикнула весело и снова спряталась. И вот слышу – она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова: кррык! И смотрю – уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огром-

ных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре, – как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые – розовые, красные, совсем черные! Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболтало. Я работал и все думал: «Что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил». Я спрашивал черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

– Давай что попало, она сама разберет, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, купил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая – прыг! – и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гиляндами бананов. Они на веревочках качались под толком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу – надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по

мне, а я лежал, полужакрыв глаза и недвижно.

Гляжу – мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась, пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз, на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет! Шлепнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрывала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазала она, как обезьяна; у нее лапки, как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут ее дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни поглядеть, все ли в порядке. Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно

красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суежилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чем не бывало; кот уже прицелился.

Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост – громадный пушистый хвост – поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудовище. Кота отбросило назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрвав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чем не бывало снова суежилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе – кота и не сыщешь. Его звали «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангустаны; они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангустаны были в клетке, наступало Васькино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал.

Кочегар Федор кричал, что сейчас идет он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея – во! – в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Федору, но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне:

– А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они...

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.

– Неси лом! – крикнул кто-то.

А Федор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:

– Гляди, гляди! Хвост!

Федор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Федора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топо-

ром по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты – он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

– Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! – крикнул Федор.

– А сам-то чего? Командир какой! – ответили из толпы.

Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста изловчилась; видно было, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу.

– Убил, убил! – закричали кругом.

Но моя мангуста – это была дикая – мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и ее бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликнулся. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова – это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу: она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стуча-

ла мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.

Вдруг кто-то крикнул:

– Бей! – и ударил ломом по змее.

Все бросились и, кто чем, стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую.

Она была в такой злобе, что укусила меня за руку; она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решетку. Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил им каюте свет и пошел прижечь йодом покусанные руки.

А там, на палубе, все еще молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть, что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазала по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на ее ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них – электрические провода к фонарю наверх. Мангуста быстро полезла еще выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:

– Там провода голые! – и побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она была недвижна.

Она была еще теплая. Я скорей понес ее в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька?» – думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтоб скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.

– Ну, где же она? – сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке ее не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! – и мангуста выскочила из-под койки как ни в чем не бывало – здоровехонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил ее, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту – так ее любили.

А дикая потом совсем приручилась, и я привез мангуст к себе домой.

Про обезьянку

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

– Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил – думал, он мне сейчас штуку какую-нибудь устроит, так что искры из глаз посыплются, и скажет: вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

– Ладно, – говорю, – знаем.

– Нет, – говорит, – в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

– На кого?

– Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

– Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечьи руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

– Яшка, Яшка, иди, что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Аи! аи!» – и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель, за пазуху.

– Идем, – говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице, несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

– Все ест, все давай. Сладкое любит. Конфеты – беда! Дорвется – непременно обожрется. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

– Ты, – говорю, – хвост ей отрезал под самый корень?

– Она макака, – говорит Юхименко, – у них хвостов не растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях. Я говорю:

– А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову, толкнулся ножками – и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

– Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели – все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затынули:

– Какая хорошенькая!

А мама все прическу прилаживала.

– Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

– Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул – стал чесаться меленько и часто черной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

– Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету – он на печь. Я его оттуда щеткой – он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда – на картину – картина покосилась: я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец за-

гнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком – пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал: – Привязать. За жилет и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговики.

Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные ноготки. Игрушечная живая ручка! Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку – раз! – и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил – и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку – нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз – замерзнет, бедный! И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось – летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-

нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески – все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх – никого. Только пошел – хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки, и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, – это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и на-

зад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет – ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке; Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднес портсигар Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил – беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все простыло, тогда он только хватится – поковыряет, наспех глот-

нет два куска:

– Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает – говорит. Разошелся – не унять. А Яша, вижу, по спинке стула поднимается, тихонько подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

– И понимаете, тут как раз... – И остановил вилку с картошкой возле уха – на один момент всего. Яшенька лапчочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки – осторожно, как вор.

А доктор дальше:

– И представьте себе... – И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился – думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается. А Яшки уж нет – сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платьице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой – ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слышал, как я вошел. Это он

видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернет огонь полным пламенем – лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стала с Яшкой, хоть в клетку сажай! Я его и ругал, и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уже очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь – конфет там или яблоко, – сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена – в завитках, в локончиках. А на шее, на длинной цепочке, зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

– Ах, какая обезьянка миловидная! – говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел – прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчат-

кой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал все завитки и стал искать. Дама покраснела.

– Пошел, пошел! – говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ноготками, зубками щелкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркале, что взлохматил ее Яшка, – чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало – чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и – в дверь.

– Безобразие, – говорит, – безобразие! – И не попрошачилась ни с кем. «Ну, – думаю, – держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку!»

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес. Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил

Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно – вижу: нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду, выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платьице, чтобы он не простудился, посадил Яшку к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыв, Яшка – прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка, – сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке, но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все оцетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чем не бы-

вало. Вот, мол, я – мне нипочем!

А Каштан – в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца – все собаки в ворота. Яшка никого не бо-
ялся. Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти
негде. А Яшка с воза на воз перелетает. Вскочит лошади на
спину – лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не
спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются
и удивляются:

– Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка – на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и
щупает, что там. Нашупает, где подсолнухи, сидит и тут же
на возу щелкает. Бывало, что и орехи нашупает Яшка. На-
бьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот.
Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками.
Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапу-
чий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не
мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг
на скамью, что стояла под деревом. Яшка, как увидел кота, –
прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах.
Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал ла-
пы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе пол-
зет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка на скамью. Кот все
задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А

Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг – прыг, да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше – привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого края. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет, и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирая всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау», – каким-то страшным, звериным голосом – я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает!

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор. Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него

не боялся: поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. А как настала осень, все в доме в один голос:

– Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку, а чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку. Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

– Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного сучили, хоть признаваться и не хотели.

Про слона

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть. Все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Все думал: вот утром сразу открою глаза – и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно – не то, что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый – все зашевелится, заиграет. И слоны! Главное – слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в Зоологическом, а запросто ходят, возят – по улице вдруг такая громада прет.

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь – совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан – вода и вода – и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору (окну) – готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки, в них черные люди в белых чалмах, зубами блестят, кричат что-то. Солнце светит со всей силы, жжет, – кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо – как будто я не я и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду, на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит, народ толчется, а мы – как оголтелые и не знаем, что смотреть, и не идем, а будто нас что несет (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим – трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше – очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам – и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь.

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко.

Солнце над самой маковкой стоит, тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идешь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим – навстречу слон. С ним четверо ребят, бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге – мне казалось, что из Зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом – и готово. А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, кто их знает? И стал.

Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу, а четвертый был ма-

ленький, лет трех, должно быть, – на нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот – иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит – не возьмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел – сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хобот мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко – поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок, – нет уж, никаких тебе! Поднял его слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал.

Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят как на дому, на крыше. Вот, думаю, здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу – слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева и, если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет.

А тут мальчишку взял, как козявку двумя пальчиками, осторожно и бережно.

Слон прошел мимо нас, смотрим – сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них как через бурьян – только ветки похрустывают –

перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится – будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошел, совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой! Ну, думаем, пропал – полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет! Куда там – не пролезть через кусты; колючие и густые, путаные. Смотрим – слон в листьях хоботом шарит. Нашупал этого маленького – он там, видно, обезьянкой уцепился, – достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается, на нас косится – чего, мол, сзади идут какие-то.

Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орет на слона – слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними выюшка, на ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим – слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть. Вертит как будто пу-

стую, вытащил – целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтоб не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Индуска набрала воды, ребят тоже заставила таскать – она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка его опять начала ругать – слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь – не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен – только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим: слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы, все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю: русские.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал, позвал к себе.

Я спрашиваю:

– Чего это слон не выходит?

– А это он, – говорит, – обиделся и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не успокоится.

Смотрим – слон вышел из-под навеса, в калитку – и прочь со двора. Думаем – теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое – прямо все ходуном ходит. Это он чешется – так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землей как дунет – раз, и еще, и еще. Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках – потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: о столбики в сарае не чешется, чтоб не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву.

Я говорю индусу:

– Какой он у тебя умный.

А он хохочет.

– Ну, – говорит, – если б я полтора года лет прожил, не тому б еще выучился. А он, – показывает на слона, – моего деда еще нянчил.

Я глянул на слона – мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

– Старый он у тебя?

– Нет, – говорит, – ему полтора года лет, он в самой поре...

Вон у меня слоненок есть, его сын, – двадцать лет ему, совсем ребенок; к сорока годам только в силу входить начнет. Вот погодите, придет слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха и с ней слоненок – с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребенок, шел.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться, слон тоже пошел, слониха и слонен-

нок с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились, все пробовали говорить – они по-своему, а мы по-русски – и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал – все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное, – может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток – быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть.

Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают.

Здорово так – только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть: больно уж быстрое течение – унесет. Скачут на берегу – и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем. Он даже внимания не обращает – все своего слоненка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струей – тот так и сел.

Хохочет – заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет: не приставайте, мол, видите – некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали – он водой на слоненка дунет, – он сра-

зу хобот повернул, да в них.

Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег, слоненок ему хобот протянул как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой – трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уже расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагроможден целый город тесаных бревен. Штабеля стоят, каждый вышиной с избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик: кожа на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то.

Смотрю – из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно – громадный брус обтесанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно – как плотник на постройке!

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик; он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушел не спеша в лес, а старик повесил хобот,

повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это – и не глядел бы».

А из лесу идет уже третий слон с бревном.

Мы – туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели.

Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги – два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, повернет бревно вдоль дороги, присядет на передние колена, подвернет хобот – и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, камень летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленках ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди – снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь – всех слонов-носильщиков, и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползали на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

Храбрый утенок

Каждое утро выносила хозяйка полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила.

Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними.

Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убежали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает.

А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала.

После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять.

Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели, что-то они ничего не едят».

Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать.

Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша.

Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться.

– Ну и храбрецы! – сказал он. – Я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра.

– Ты хвастаешь, – сказали утята. – Завтра ты первый испугаешься и побежишь.

На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рублеными яйцами и ушла.

– Ну, смотрите, – сказал смелый Алеша, – сейчас я буду драться с вашей стрекозой.

Только он это сказал, как вдруг зажужжала стрекоза.

Прямо сверху она полетела на тарелку.

Утята хотели бежать, но Алеша не испугался.

Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее клювом за крыло. Насилу она вырвалась и с поломанным крылом улетела.

С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекозы.

Константин Паустовский

Рассказы

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весе-

лые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырганье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, – кто

знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пяточок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал – барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крикали утки, курлыкали журавли на сухих болотах – мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

1935

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

– Ты что, одурел? – крикнул ветеринар. – Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

– А вы не лайте, это заяц особенный, – хриплым шепотом сказал Ваня. – Его дед прислал, велел лечить.

– От чего лечить-то?

– Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

– Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком – деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

– Ты чего, малый? – спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. – Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

– Пожженный он, дедушкин заяц, – сказал тихо Ваня. – На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-

вот, гляди, умереть.

– Не умереть, милый, – прошамкала Анисья. – Скажи де-душке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел на дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

– Ты чего, серый? – тихо спросил Ваня. – Ты бы поел.

Заяц молчал.

– Ты бы поел, – повторил Ваня, и голос его задрожал. – Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес – надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сос-

новым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховой вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед переkreстился.

– Не то лошадь, не то невеста – шут их разберет! – сказал он и сплюнул.

Долго расспрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

– Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш – специалист по детским болезням – уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

– Это мне нравится! – сказал аптекарь. – Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

– Почтовая улица, три! – вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. – Три!

Дед с Ваней добрали до Почтовой улицы как раз вовремя – из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

– Я не ветеринар, – сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. – Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

– Что ребенок, что заяц – все одно, – упрямо пробормотал дед. – Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь – бросить!

Еще через минуту Карл Петрович – старик с седыми взъерошенными бровями, – волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвал себя сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Зяец не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь *Ларион Малявин*».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крикали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар – от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал – воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чувствуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то быстро!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед, – оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

– Да, – сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, – да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

– Чем же ты провинился?

– А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

1937

Грач в троллейбусе

Была еще та ранняя весна, когда о приближении тепла можно догадаться только по едва заметным признакам – по туману на московских улицах, по каплям этого тумана, стекающим с черных веток недавно посаженных лип, и по рыхлому ветру. От него оседает и становится ноздреватым снег. Но этот последний признак, пожалуй, к Москве не относится. Снег в Москве к концу марта остается только в некоторых дворах, а на теплом асфальте его уже давно нет. Зиму в Москве собирают машинами-конвейерами на самосвалы и вывозят без остатка за город.

Тот случай, о каком я хочу рассказать, произошел в троллейбусе номер пять.

Москвичи, как известно, в троллейбусах и автобусах разговаривают мало, а больше читают. И в том троллейбусе номер пять, который отошел от остановки на Театральном проезде, тоже было обычное настроение. Но вдруг кондукторша крикнула:

– Погодите! Что же это такое?

– Это грач, – испуганно сказала девочка лет восьми.

Грач сидел, угревшись, под пальто на груди у девочки и только на минуту высунул из-под пальто свой нос. Но этого было достаточно, чтобы бдительная кондукторша заметила в троллейбусе птицу, запрещенную к перевозке.

– Если его нельзя везти, так я слезу, – сказала девочка и покраснела.

– Что ты, дочка! – воскликнула кондукторша, перестала давать билеты и протиснулась к девочке. – Сиди, не беспокойся. Ой, какая птаха хорошая! Что это? Неужели грач?

Грач осмелел и выглянул. Кондукторша осторожно погладила его пальцем по точеной головке и засмеялась.

– Не бойтесь, он не кусается, – сказала девочка и вся засияла. – Он очень серьезный, но добрый.

– Какой же это грач, – сказал старик с картонной папкой, – когда это скворец.

– А вы, гражданин, если не знаете облика птиц, так не утверждайте, – ответил пожилой человек в форме железнодорожника.

– Где нам в Москве знать про птиц, – вздохнула старуха в платке. – Нам что грач, что скворец, что воробей или стриж – все равно.

Пассажиры начали вставать, тесниться около девочки. Каждый пытался погладить грача. Грач гладить себя давал, но посматривал на всех презрительно и высокомерно.

Сквозь толпу с трудом продирался от выходной двери назад плотный суровый генерал.

– Куда это вы, товарищ генерал, – заметил худой юноша без кепки, – против течения?

– А я к грачу, молодой человек, – ответил генерал и повторил внушительным голосом: – К гра-чу!

Генерал протискался к девочке, взял у нее грача, подержал его на ладони, как бы взвешивая, возвратил девочке и сказал:

– Куда же ты его везешь?

– В Зоопарк. Там я его выпущу.

– У нас на реке Сейме, – неожиданно сказал молоденький лейтенант и почтительно посмотрел на генерала, – настоящее пернатое царство. Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у нее нет. А у нас – соловьи. Мировые соловьи. Весной наш край по ночам весь поет.

– Вы про профессора Мантейфеля слышали? – спросил генерал лейтенанта.

– Так точно, слышал, товарищ генерал!

– Каждую птичью повадку знает. И может объяснить. Ну, а насчет всяких колен, пересвистов, перезвонов, трелей, чохов и всей прочей птичьей музыки нет такого другого знатока и любителя в Советском Союзе. Просто волшебный старик!

– Вы здесь ходите? – спросила генерала молодая женщина со смеющимися глазами. – Или остаетесь?

– Я на следующей остановке сойду, – ответил генерал, несколько не смущаясь вопросом молодой женщины. – Подумаешь, важность – пройти два квартала обратно. Я, знаете, был свидетелем удивительной одной истории. Под Ленинградом во время войны. Весной это было. Прилетели скворцы и вьются, кричат над своими скворечнями. А скворечни, как на грех, в пустой полосе между нами и фашистами.

Так те открыли по скворцам огонь из автоматов. Их, видите ли, беспокоил крик скворцов. Нервные попались молодчики. Тогда не выдержало у наших сердце. «Ах, так!» И открыли наши бойцы по фрицам такой огонь, что те мигом затихли.

– Вступились, значит, за скворцов, – сказала кондукторша. – Так я и подумала, как только вы начали рассказывать, товарищ генерал.

– А как же! Ведь скворец с древних времен сопутствует русскому человеку.

– Кондуктор! – крикнул сердитый голос. – Почему не дадите билетов?

– Сейчас, – ответила недовольно кондукторша. Она все еще стояла около девочки и гладила грача по голове. – Сердца никакого нет у людей!

– А вы потише, гражданин, – сказала старуха недовольному пассажиру.

– Весна, значит, скоро, – вздохнул железнодорожник. – Черемуха зацветет. И полетят птицы над Россией, понесут свои песни.

– Ну, мне все-таки пора выходить, – сказал генерал. – До свидания, товарищи!

Все попрощались с генералом. Он вышел, чему-то улыбаясь, и так, улыбаясь, и пошел по улице к давно пропущенной остановке.

А пассажиры еще долго говорили о граче – предвестнике весны, о картине Саврасова «Грачи прилетели», о том, что

Москва постепенно превращается в сад, где будет привольно всякой птице, и скоро весь город будет с утра до ночи звенеть от птичьего пения.

– Как это удивительно у нас получается, – сказал старик с картонной папкой. – Правительство заботится о благе людей, а от этого блага, глядишь, и перепадет кое-что даже певчим птахам.

– Так и должно получаться, – убежденно ответил худой юноша без кепки.

– Истинно так! – сказала старуха в платке. – Я это по себе знаю.

Но тут уже начинается другая история, которую я расскажу как-нибудь позже.

1953

Сказки

Дремучий медведь

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого – Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

– Все тормошила тебя, веселила, – говорила бабка Анисья, – да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревьях. И каких

только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист – узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки – дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив – и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромым. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели ис-

пуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобер сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий не сельского почтаря Ивана Афанасьевича – такой же остроносый и с шустрым черным глазом, – колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся – до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву – не теряет веселости.

«Может, голова у него и не болит, – думал Петя, – но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли – бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами – и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, – летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не

стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотрит на нее с берега – и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете – помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокору, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

– Вот и я! – говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки. – Здравствуйте!

– Дра! Дра! – отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленной бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, – зеленые, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная – со дна реки били ледяные ключи, – и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья – шуметь, рыбы – бить хвостами по воде, шмели – грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло – одна кожа и шерсть. Лето

выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь – так и там одна только пыль.

– Беда-а-а! – рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. – Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой – и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом – только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? – сомневался медведь. – Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал, и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и наконец решился – прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята – глупые они еще были – подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

– Карраул! – крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. – Звери, ворр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву – посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру,

вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя – ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

– погоди, сейчас вылезу на бережок – все кости твои пересчитаю. Что выдумал – старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» – и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» – подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и, сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

– Это что ж такое? – зарычал медведь. – Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился – и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воеет и собственного воя

не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей выются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хват, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

– Братцы! – заорал медведь, пуская пузыри. – Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю... до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

– Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! – прохрипел окунь, не разжимая зубов. – Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.

«Фу, – думает, – дешево я отделался! Только хвост поте-

рял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят – рассчитывают, когда он подплывет под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи – плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобер крикнул:

– А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала – обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» – подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и – где там отряхиваться, некогда! – пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохну-

лась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул – где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его – все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

– Спасибо вам! – сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

– Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

1947

Растрепанный воробей

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове – должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны.

Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием Камчатка, и вернется не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше

мама никогда не разговаривала с вещами.

– Вот, – прошептала мама, – ты и дождался.

– Чего дождался? – спросила Маша.

– Ты маленькая, ничего еще не понимаешь, – ответила мама. – Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

– А вот я и поняла, – сказала сердито Маша.

– Что ты поняла?

– Все! – ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что, казалось, все спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была

седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умыться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала:

– Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно,

и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени Пашка.

Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена – их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, – воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные – в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая.

«Раньше, – рассказывал Чичкин, – воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочем не допустят...»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза: прикинулся мертвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула – выбранилась на все воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

– Эх ты, беспризорник! – сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. – Невеселой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склонуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табака.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

– Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

– Берите! С варежкой. А то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал

было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий – Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне – и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку серая ворона и украла со стола копченую рыбку голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошек и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу – нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расческу, игральную карту – трефовую даму – и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то зашкряпало. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно. Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдется стеклянный букетик – если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них – на деревья, пока не долетел до театра. Там он пощипал немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартовый, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Паш-

ка по приказу Чичкина собрал всех воробьев, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа. Прибежал милиционер. Он заглянул в ларек и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

– Вот это да! – сказал милиционер. – Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларьке и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок-сестер,

и злую мачеху, и свою маму – худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

– Золушка! – тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку. Было очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программ в руках и большими черными биноклями, – даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах сле-

зы, – вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослепленный сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер замахал палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка – ее мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

– Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

– Да, – ответила, помолчав, мама.

– А почему ты плачешь?

– Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бы-

вают на свете.

– Вот и неправда! – пробормотала Маша. – От радости смеются.

– От маленькой радости смеются, – ответила мама, – а от большой – плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

1948

Юрий Казаков

Арктур – гончий пес

Памяти М. М. Пришвина

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надо-едал, никому не навязывался и никому не подчинялся – он был свободен.

Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Странные люди цыгане! Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие – на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются – смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уже никогда не уви-

деть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим кличем «клинк-кланк!» – люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла по-

ра, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей, – ее властелинов и богов.

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплему животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить – такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожущими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, – раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному,

ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым, – мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Когда он дрался с другими собаками – а дрался он множество раз на своем веку, – он не видел своих врагов, он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, – ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени... Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменялось.

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы, с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые стучались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей. Но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и

спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук – это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Кажалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: ду-дуу...

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревен, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

– Ну, теперь ступай! – сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

– Гм... – произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, приняюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его, ерзал в качалке и придумывал ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака! Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

– Арктур... – пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

– Арктур! – снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

– Арктур! Иди сюда, Арктур! – уже уверенно, властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никем не произнесенное имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда

он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело колело как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного.

Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но

во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натываясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Часто многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И, лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все

запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему – одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать в ту сторону, откуда тянул ветер, он сразу же ощущал свалки и помойки, дома каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так же ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе пах неинтересно, но в его трещинах и порах надолго задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались подолгу, иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие километры вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скри-

пел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины – кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе не ведомая и не слышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура.

Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» – подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились.

Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровавые белки.

– Гришка! – закричал кто-то сзади. – Бежи скорей вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктур и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком ошибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

– Ах, ссобака! – злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом.

Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернул на

мгновенье к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, осту-
пился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пас-
тух стегнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу
успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, под-
нимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепе-
хи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал,
вывалив язык, – ребра ходили под кожей. На боках его были
какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожа-
ла. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним, он не
отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и
обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно
собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, мо-
жет быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счаст-
ливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни
возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на
прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнет-
ся скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько
раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пере-
жидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непо-

нятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. В городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы: высокая жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорились прогнать из леса. И потом – запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натываясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

– Ах, Арктур! – тихонько говорил я ему. – Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов: белых, желтых, голубых и красных, и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки – все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нор-

мальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Аркура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» – подумал я и остановился.

– Гам! – звонко и неуверенно раздалось в кустах. – Гам, гам!

– Арктур! – в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось, Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликаю его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в ложину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

– Арктур! – крикнул я.

Он сбился с хода, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так он был возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он

пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверное, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, которые так необходимы каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом, лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много километров в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегают, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» – и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» – что тогда выделял этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирая вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять са-

дился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек, ино-

гда пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного уже ближе и громче.

Я сидел на пне, поворачивая голову, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, скололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она бы-

ла грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась, с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем собаки.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о

его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непроданная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах – сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

– Погоды-то ныне, погоды... – неопределенно начал он и, крякнув, умолк.

Я догадался и спросил:

– Не за собачкой ли пришли?

– Да и как же! – оживился он и надел шапку. – Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне – вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что! Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

– Что ж, отказали вам? – спросил я, заранее зная ответ.

– И не говори! – огорченно воскликнул он. – Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник – во, вишь, глаз потерял? – и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьдесят рублей сулил – цена-то какова, а? – и не подходи, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят, собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

– Она где же помещается у вас? – как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

– Уж не украсть ли собачку хотите? – спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

– Прости господи! – сказал он и засмеялся. – Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня.

– А голос-то, го-олос! Понимаешь ты голос? Чистый ключ,

я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

– Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее, святой крест, продаст. До покрова-то далеко, чего-нибудь придумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

– Что он тут вам говорил? – волновался он. – Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услышав голос хозяйна, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

– Арктур! – сказал доктор. – Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Аркура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории

имели счастливый конец! И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно, и гончий пес рождается, чтобы гнать зверя-врага, гнать за то, что тот не пришел к человеку и не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес – не слепой человек, ему никто не поможет, он одинок в темноте, он бессилён и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым, и если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого! Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить...

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день...

Когда друг, который жил с тобой, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах его, запах чистой здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему

дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал, и вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разно-речивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай...

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день навевались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться, для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как, где? — этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Беспольный, он уныло торчал над землей и чернел

от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только он пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили яркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов – осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, – всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальд-

шнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражались небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежащие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Артур, когда мчался по горячему пахучему следу, и не помнил уже, не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут Дианы и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы...

Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!